

Валерий Гришковец

# *Поезд вне расписания*



Валерий Гришковец

**Поезд вне расписания**

«Издательские решения»

**Гришковец В. Ф.**

Поезд вне расписания / В. Ф. Гришковец — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903192-1

«Поезд вне расписания» — книга прозы поэта Валерия Гришковца. В неё вошли эссе поэта из «Цикла «Бюро находок», а также фрагменты дневника и записки «Душа — не выгребная яма». «Поезд вне расписания»... Впрочем, вся жизнь автора этой книги, можно сказать, прошла вне расписания. Об этом в принципе эссе и дневниковые записи Валерия Гришковца, которые и составили книгу.

ISBN 978-5-44-903192-1

© Гришковец В. Ф.  
© Издательские решения

## Содержание

ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ	6
БЮРО НАХОДОК	7
Московское время	9
Шуба Петруся Бровки	12
В Переделкино, к Борису Пастернаку...	14
Нести свой крест	19
Мой город	22
Пинский литературный	25
Похороны «балаховца» деда Рыгора	32
Однофамилец	33
Сохраним память	35
Выручает белорусская картошка	37
Вопрос Президенту	39
Есть повод порадоваться	41
Памятный тост	42
Вот пришел Анахорет Купреев...	43
Как Анатолий Сыс	46
Дама из Амстердама	47
«Койтусальный станок» С ТОРФОЗАВОДА «ОГДЕМЕР»	49
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ	52
Сороковины	53
Квартирный вопрос	55
Встреча спустя годы	58
Тридцать сребреников	59
В белорусском городе Бресте...	60
Такая вот память	62
Черный след	63
О «СЛУГАХ НАРОДА»	64
Как я был лауреатом...	67
С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ВПЕРЕД, или КАК Я ХОДИЛ	69
В ДИССИДЕНТАХ...	
Выхожу один я на дорогу...	80
Белые мосты – от сердца к сердцу	83
Пути Господни неисповедимы	92
Конец ознакомительного фрагмента.	95

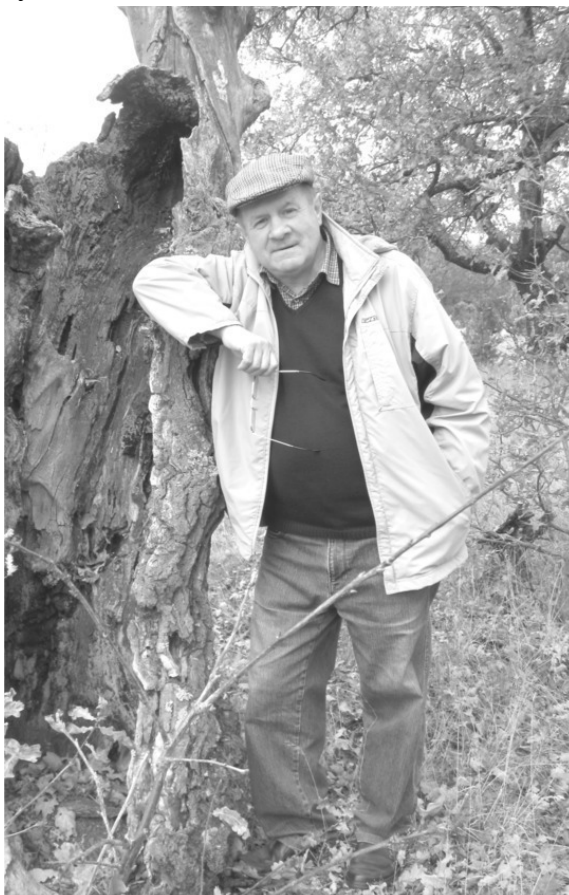
# Поезд вне расписания

**Валерий Фёдорович Гришковец**

© Валерий Фёдорович Гришковец, 2018

ISBN 978-5-4490-3192-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



## ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ

\*\*\*

*ПОЕЗД МОЙ ИДЕТ ВНЕ РАСПИСАНИЯ,  
ПРЯМО В ДОЖДЬ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В СНЕГ.  
ЖИЗНЬ ПРОШЛА – СПЛОШНОЕ ОЖИДАНИЕ,  
ЖИЗНЬ ОСТАЛАСЬ – ЗАПОЛОШНЫЙ БЕГ.*

*ПРОЖИТ ВЕК. И С НИМ – ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ.  
НЕ С ТОГО ЛЬ ТАК НОША ТЯЖЕЛА?!  
ВОТ И СКУКА – СУКА БЕЗБИЛЕТНАЯ  
В САМОМ СЕРДЦЕ ГНЕЗДЫШКО СВИЛА.*

*БОЛЬ И ТЯГОСТЬ – МОЛОДОСТЬ ВЧЕРАШНЯЯ.  
ЗАВТРАШНЯЯ СТАРОСТЬ – КАК СУМА...  
В ПОЕЗДЕ НАПЛЕВАНО, НАГАЖЕНО.  
ЗА ОКНОМ – НИ ОСЕНЬ, НИ ЗИМА;*

*ТО ЛИ ПОЛЕ, ТО ЛИ ЛЕС ПОРУБЛЕННЫЙ —  
СИРО, ГОЛО... ВЕЧЕР ЛИ, РАССВЕТ?..  
КРАЙ РОДИМЫЙ, СЛОВНО ХРАМ ПОРУГАННЫЙ.  
В СТЕЛЬКУ ПЬЯН, ХРАПИТ В УГЛУ СОСЕД.*

*СПРЫГНУТЬ, ЧТО ЛЬ, СОРВАВ СТОП-КРАН, ДА ПО ПОЛЮ,  
ДА БЕГОМ ОБРАТНО!.. А КУДА?!.  
ВЕК И Я, ДРУГ ДРУГА МЫ ПРОХЛОПАЛИ,  
ПОСВИСТЕЛИ МИМО ПОЕЗДА...*

## БЮРО НАХОДОК СЛЕЗЫ ВЫМЫСЛА – ЭХО СУДЬБЫ?..

Первые стихи... Они пришли в непорочную душу девятилетнего пацана, когда рабочая окраина провинциального городка тонула в чистом полесском снегу, набивавшемся под самые стрехи невысоких пролетарских жилищ. Белый снег детства и черные булочки «оттепельных» зим. Всегда, даже только с прилавка, выпеченные в виде (замерзшей) птахи с угольком изюминки на кончике смешно обрубленного носа-клюва. Эти булочки-птахи впечатлительный шалопай заедал снегом – сводило зубы, бурчало в животе – и летел по накатанной грузовиками проезжей части неглавной улицы Пинска на одном коньке-«снегуренке», намертво пригнанном ремешком из свиной кожи к валенку. Чем еще мог порадовать тебя батька, за семьдесят рублей «новыми» тягавший вагонетки со шпоном на самом крупном предприятии города – фанерно-спичечной фабрике («фанерке»), что три раза в сутки будоражила округу нудным, тяжелым и колючим как наждак гудком...

Но кто сжалился над тобой – дал свободно догулять детство? Ты вдруг бросил карандаш и бумагу, и, пряча за пазухой кеды (от матери), бежишь в спортзал ДСШ (детской спортивной школы) – бывшей главной синагоги Пинска – в секцию бокса. Разве без секции мало доставалось тебе «по роже», раз-по-раз выходя «один на один» со сверстниками, но чаще с пацанами постарше к школьной уборной – подальше с глаз всё видящих и знающих училок. Из-за девчонок? Как ты влюблялся... Нет, читал бы умные книжки, а то: «...в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь...» И хриплый голос «блатаря» Высоцкого с магнитофона под чужим окном. И первые двойки. И первое... вино, купленное на деньги, что выдал тебе с друзьями какой-то скрюченный мокрогубый очкарик за дрова, стянутые с «фанерки». Как в то лето гоняли вы вплавь бревна по Пине, пряча их небольшими штабелями в кустах на том, загородном берегу...

Первая любовь... Первая печаль... Первое вино... Первая беда...

Стихи, стихи...

И первые гонорары. Тебе, восьмикласснику, кривясь («не имею права без паспорта») выдает их «почтовая тётка» все на той же рабочей окраине, раздавшейся вширь и потянувшейся «хрущобами» к солнцу...

Почему ты бросил школу, едва получив такой долгожданный паспорт?.. Двойки пугали? А может, захотелось иметь «свои» деньги, ведь ходил уже вовсю на танцы-«гопанки» с окрестной шпаной? И опять же – вино... А может, недоставало «свободы»? Ах, эта свобода!.. Но завод, вечерняя школа... И вдруг – о, это твое «вдруг» – ты, оглядываясь на темные окна уже не твоей школы, пошёл на вокзал, взял билет: «в Симферополь!» и, ни кого не предупредив, кроме лучшего друга, укатил в Крым. Первая встреча с морем...

Стихи, стихи...

И бегство обратно, домой. Никуда не берут на работу. Мать изводится, – что делать?.. И любовь. Свидания в зимнем, парящем над мирозданием парке... Но тебя призывают в армию. Слава Богу, тебя призывают в армию! Ну что тебе, вечно лятящему и битому, кирзачи и портянки, ледяная стужа и пыльная сушь Семиречья?.. Все, все по плечу, но... письмо от той, что так любишь, из-за которой некогда даже подумать о матери... Письмо, после него уже – ни сна, ни покоя, ни света... На отдаленном посту чуть было не нажал на курок «калашникова», заглянув перед тем в мертвый зрачок ствола...

Стихи, стихи...

«Над вымыслом слезами обольюсь...», «Подтвердить строку судьбой...». Судьба, судьба... «Любовь, печаль, разлука, дороги синий дым...» Вымысел – судьба?.. Судьба – вымысел?..

Стихи, стихи...  
1995

## Московское время

С давних, еще юношеских лет живет во мне прозаик, но... но, видимо, помрет он, так и не появившись на свет Божий. Сколько было задумок, сколько раз я пытался усадить себя за стол писать большую прозу, роман, повесть. Ведь материала (имеются в виду темы, сюжеты и т. д. и т.п.) вокруг, да около, да во мне самом, в жизни моей – не одному классику на собрание сочинений хватило бы... Видать, нет большого таланта. Усидчивости, а это – одна из составных таланта большого писателя – во мне точно нету. И все-таки кое-что из своей жизни я должен, просто обязан рассказать людям. Ну, хотя бы о том, почему и как я оказался в Москве. А еще о том, как, и главное, почему запрещали издавать мою первую книгу. И кто запрещал. И как все это происходило. Не сомневаюсь, будь что-нибудь подобное в биографии какого-нибудь негодяя, имею в виду самозванных «классиков», коих ныне развелось несметное количество, давно бы раздули такое... Тем более, что во всем белорусском Союзе писателей во все послевоенные времена не было ни одного, подчеркиваю это, диссидента. Борони Бог, я тоже не диссидент. И никогда не собирался им быть. Впрочем...

Кое-что из «Бюро находок» я показал друзьям в Москве. Посоветовали быть скромнее. смелее и... не таким уж распахнутым. Что ж, первое постараюсь учесть обязательно. И если, что не так, простите великодушно.

Итак, я живу в Москве. Кое-кто считает меня поэтом. Поэт ли я? Часто сомневаюсь. Особенно, когда прохожу по Пушкинской площади мимо памятника (по-моему, одного на лучших памятников российской столицы) Александру Сергеевичу Пушкину. А на Пушкинской площади, как и на Тверском бульваре, где установлен также прекрасный памятник прекрасному русскому поэту Сергею Есенину я бываю очень часто – там находится Литературный институт, где два года я учился на ВЛК – Высших литературных курсах, и где по сей день по разным делам приходится бывать и теперь.

Московское время – особое время. Так было всегда. Так оно остается и поныне. Короче говоря, писать есть о чем. Как-никак шестой год ошиваюсь тут. Московское время... Недавно же по совету поэта Юрия Кузнецова не смотрю телевизор и не читаю газет. Ну, за редким исключением. Скажем, «Завтра». Иногда – «Литературную Россию». И то «одним глазом». А ко всему смотрел бы еще «ящик» да читал что-нибудь вроде «Московского комсомольца» – давно лежал бы с инфарктом, а то и в ящике. Уже без кавычек.

Итак, живу в Москве. Закончил ВЛК. Было дело после учебы на курсах, не сдав по глупости выпускных экзаменов, вернулся на родные берега. Пошатался по Пинску, попил (с избытком) дерьмового вина, и...

Тянет белокаменная, ох, как тянет к себе хлебнувших однажды из ее до одури хмельной чаши!.. Приехал. Поселил знакомый в коммуналку. Пошел на старое место: сторожем в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке. Попал я туда, казалось бы, совершенно случайно в конце сентября 1994 года, на втором году учебы на ВЛК. Нужда заставила искать работу. И повел меня туда сокурсник, ростовский поэт Бажен Петухов. Сам он покрутился сторожем здесь месяца два, не выдержал. Поначалу и я мучился. Ой, как мучительно долго тянулись для меня первые сутки дежурств, как томился я, как рвался скорей за ограду, в общагу...

Кстати, первое стихотворение, что я написал в Москве, называлось «Ветер». И заканчивалось оно так:

*Я слыл непутевым, отчаянным,  
От жен уходил и детей,  
Мол, что мне?! Да вот же нечаянно —  
Церквишка. И стал у дверей...*

Было это написано ровно за год до моего прихода в храм Благовещения, 5 октября 1993 года.

А еще, приехав в январе 1995 года домой на каникулы, как-то среди ночи (помню, зачитался) решил я разглядеть, что же за икона висит в моей комнате. Каково же было мое удивление, когда подошел поближе и разглядел: именно икона Благовещения Пресвятой Богородицы висела в углу моей комнаты. Хотя икон в моей квартире было всегда много – мать глубоко верующий человек. У меня же в комнате висела всего одна – Благовещения Пресвятой Богородицы. Утром спросил у матери, как давно висит эта икона в моей комнате. «Всегда висела», – ответила мать. А жил я в этой квартире, точнее – был прописан, уже 14 лет...

Что интересно, если на первые дежурства ехал я, без преувеличения, как на каторгу, то потом, после учебы на ВЛК живя уже самостоятельно в Москве, намаявшись в ее несуетной сутолоке, я спешил (и спешу) в храм, как спешат в родной дом. Выйдешь из метро, войдешь в парк и... предстает взору такой светлый, такой долгожданный, такой желанный... Словом, за церковной оградой отдыхал я (и, слава Богу, отдыхаю до сих пор) и душой и телом.

Надо сказать, что не один я такой, нашедший прибежище в храме, успокоение душе и телу. Правда, я до сих пор работаю в храме, хотя какая это работа?.. Сотни, тысячи москвичей идут и едут в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы послушать проповеди протоиерея отца Димитрия Смирнова. Едут со всех концов Москвы. Писатели, художники, артисты, военные и штатские, все, кто увидел, кому сияет свет Православия...

Рядом с храмом, буквально через дорогу, еще недавно известная всему миру инженерная академия Военно-Воздушных Сил России имени Жуковского. Начальник академии – генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Коваленок.

Довелось как-то видеть, как наш прославленный земляк шел, глубоко втянув шею в генеральскую шинель и скорбно глядя под ноги. А ведь орел, высоко летал! Хорошо помню, как читал стихи и поэмы, посвященные Владимиру Васильевичу, помню и то, как, открыв рот, смотрел ему вслед в гостинице «Минск» в дорогой родной столице. Тогда наш герой-космонавт был еще и депутатом Верховного Совета БССР. На весь Божий свет шумел самый демократический в нашей недавней истории год – 1990-й. Бывшие союзные республики смело объявили о своей независимости. Депутаты везде и всюду, чуть не проглатывая микрофоны, ревели о свободе и суверенитете. Не осталась в стороне и родная Беларусь. И герой-космонавт, депутат Верховного Совета Белорусской ССР Владимир Васильевич Коваленок, словно между микрофонами, разрывался между депутатами, сторонниками КПБ, тогда еще общесоветской, и оппозицией от БНФ, бескомпромиссно разбившей «імперскія аковы вялікадзяржаўнага шавінізму». Одно время депутат В. Коваленок метил даже в Председатели Верховного Совета Республики Беларусь. Но надо было расстаться с Москвой, с Россией и ее Вооруженными Силами. Что ж, с Москвой окончательно не расстались ни Алиев, ни Шеварднадзе – ни первый, ни второй не передали свои роскошные квартиры москвичам, как, впрочем, обладателями, точнее сказать – владельцами шикарных московских квартир остаются десятки, сотни и даже тысячи национал-радикалов теперешних независимых и все еще пока зависимых от Москвы республик...

На такие, довольно скучные рассуждения подбила меня случайная встреча с земляком-космонавтом в Москве. Кстати, не лучшие времена переживает нынче и академия имени Жуковского. Дворец в Петровском парке, где она вольготно «квартировала» в советские годы, отходит в распоряжение сенаторов (губернаторов) России, так что скоро Владимиру Васильевичу Коваленку на работу придется ездить на одну из московских окраин, и мы теперь вряд ли встретимся. Даже случайно. А работали, можно сказать, бок о бок. Жаль, не знал об этом Владимир батькович, может... хотя стихов космонавтам я не посвящал: не по чину было. Но хорошо помню, как в декабре 1973 года нас, солдат и офицеров, задержавшихся на аэродроме у неисправного самолета, чуть не до паники напугал другой земляк – Петр Климук.

Декабрьский вечер. Завьюженная степь и... прямо над головой, точнее, издалека прямо на наши головы летит, рассыпая огромные лучи в стороны и вниз, круглый, с большую луну, шар. Все переполошились. Офицеры – больше других: никто никогда ничего подобного не видел.

На следующий день из газет узнали: в космос запустили очередной корабль. Я бегал по казарме с газетой и озорно сверкал глазами: «Во, кто нас напугал, земля мой, космонавт из-под Бреста Петр Климук!». Служил я в Семипалатинской области в минуте лета космического аппарата от Байконура. Солнце в тот вечер уже село за горизонт, и воздушный корабль, словно луна, отражал его свет и рассыпал лучи на землю...

Все хорошо, что хорошо кончается. Благополучно закончились и космические полеты наших земляков. Нынче герой-космонавт Коваленок шлет поздравительные и прочие депеши в мой храм Благовещения настоятелю, протоиерею отцу Димитрию Смирнову. А отец Димитрий читает лекции будущим космонавтам в академии, подначаленной нашему земляку. Мог ли еще недавно подобное представить себе герой-космонавт? Я уж не говорю о себе – рядовом солдате некогда великой Советской Армии. И смех и грех. Вот уж воистину: все во власти Божьей. Неспроста же издавна освящает мою комнату в пинской квартире икона Благовещения Пресвятой Богородицы.

1998

## Шуба Петруся Бровки

Сегодня всякое можно услышать и прочитать про Петруся Бровку. Но чтобы ни говорили и ни писали о Бровке, только за одно стихотворение «Пахне чабор...» хочется снять шапку перед памятью этого неординарного поэта. А какой он был человек... Довелось видеть его всего один раз в Минске, летом 1977 года, на похоронах Евдокии Лось, где я оказался совершенно случайно. Впрочем...

Свою первую московскую зиму, а выдалась она ранней, снежной, холодной, я проходил бы, а точнее промерз бы в легкой, не для московской зимы, куртке. Благо, в самом начале декабря на станции метро «Таганская» встретил земляка. Мы с ним служили в армии в Казахстане, были одного призыва и по-земляцки дружили. Как он меня, обросшего бородой, а главное, спустя двадцать (!) лет, узнал, – понятия не имею. Но узнал и, слава Богу, спас от московских слякотных морозов. Зимой в Москве, разумеется, в мороз улицы обильно посыпают какой-то жуткой соляной смесью. И вот она, эта смесь, разбитая колесами, тает вместе с выпавшим снегом. И даже, если нет снега, она тает, образуя на асфальте наледь, которая в свою очередь также тает под колесами машин, под ногами пешеходов, исходя сыростью, которую тут же впитывает мороз. Холод – не приведи Господи, до костей пробирает...

Обнялись. Подивились встрече такой и покатали к нему, Пете Качану из Слуцка, он был женат на москвичке и жил у стадиона «Торпедо». От него я уехал в выдавшем виды, но еще крепком, надежном, а самое главное – теплом солдатском бушлате. И бушлат этот, надо отдать ему должное, и, конечно же, однополчанину Пете Качану, грел меня две зимы, пока я учился на Высших литературных курсах. А еще подогревала – и неплохо! – наша с Петей дружба...

Как-то захотелось выпить, снять усталость от постоянного, непривычного для меня напряжения столичной жизни. А ЦДЛ в ту зиму, с 93-го на 94-ый, для рядовых русских писателей стараниями Роберта Рождественского был закрыт. Собирались там же, на Большой Никитской улице в Московской писательской организации, прямо в кабинете председателя Правления В. И. Гусева. Владимир Иванович, человек широкой натуры, яркий реалист и вместе с тем большой выдумщик и затейник, всегда умел организовать хорошую компанию и хорошее застолье. Туда я и двинул в своем бушлате. Открываю дверь – сидит Алесь Кожедуб. Увидел меня, машет рукой: заходи! Знакомит с поэтом Сергеем Красиковым. Выпили, разговорились. Оказывается, жена Сергея Красикова – известная минская художница Нинель Счастливая, а я не так давно из Белоруссии. Тут и пошло...

Сергей Красиков хлопает меня по бушлату, рассказывает:

– Да-а, времена для белорусов в Первоисточной настали хреновые. Ходят в бушлатах, пьют водку, притом дешевую, и не закусывают ничем, не за что. А помню, Игорь Шкляревский расхаживал по Москве в медвежьей шубе. Придет в ЦДЛ, сбросит шубу гардеробщику и даже номерок не берет – все знали: медвежья шуба принадлежит поэту Игорю Шкляревскому. Ходил он тут, под стать Шалапу – барин барином. Все завидовали! А подарил эту шубу ему, кто бы вы думали? – Сам Петрусь Бровка!.. Вот так, широкий жест поэта по отношению к младшему собрату, поэту, земляку. За что и при каких обстоятельствах Петрусь Бровка подарил свою медвежью шубу Игорю Шкляревскому, не знаю. Возможно, перевел его стихи на русский и переводы понравились. Шкляревский белорусов переводил великолепно, чего уж там. А может, и так, по доброте человеческой. Петрусь Бровка стал тогда лауреатом Ленинской премии – не шутка!.. Игорь Шкляревский зим десять носил эту шубу.

И Сергей Красиков замолчал, как бы что-то припоминая.

– А году в 79-м или 80-м, точно помню, что перед Новым годом, заваливается ко мне в гости Петр Кошель. Я, как открыл дверь, так и ахнул: «Шуба Петруся Бровки!» Вы что, говорю, по эстафете ее передаете? Кошель смеется, с воротника снег стряхивает. Сколько лет

шубе, а она – как печка, теплая, ворс – сантиметров десять! Ну, пять точно. И Кошель, я вам скажу, не одну зиму проходил в шубе классика. Я для «Советского писателя» тогда белорусских поэтов переводил, а Петр Кошель там был редактором. И там, в «Советском писателе», а было это уже в восьмидесятых, я встречал Кошеля в Бровкиной шубе. А донашивал ее Слава Артемов. Уже перестройка вовсю шумела, улицу Воровского опять в Поварскую переименовали. Помню, новые таблички как раз прибывали. Иду уже по Поварской в Союз писателей – навстречу Слава Артемов. Я как увидел его в этой шубе, через дорогу перебежал, на полном серьезе говорю: «Ты, Слава, если и сносишь эту шубу, что маловероятно, не выкидывай, передай ее в Минск, пусть в музей сдадут – реликвия!» Артемов смеется: «Я знаю, мне Кошель рассказывал – шуба Петруся Бровки...»

– Ну, что ж, – поддержал я веселый рассказ Сергея Красикова, – русская проза, как известно, из «Шинели» Гоголя вышла. Значит: русская поэзия белорусов Москвы – из шубы Петруся Бровки.

– По такому случаю, – Алесь Кожедуб наполнил рюмки, – за Петруся Бровку, за нашу литературу, за Беларусь!..

1998

## В Переделкино, к Борису Пастернаку...

В «Народной газете» – внушительная статья и такое же фото – репортаж с Московского кладбища в Минске. Насколько мне известно, это самое престижное место захоронения в белорусской столице. На снимке: фрагмент кладбища – неухоженная могила народного поэта Беларуси Пимена Панченко на фоне довольно помпезных, но тоже, можно сказать, заброшенных памятников некоторым известным в прошлом людям. Авторы репортажа вопиют к нам, живым: куда это вы так разогнались, что и могилы своих великих сородичей забыли? Оставайтесь, замедлите свой бег, умерьте пыл, и, коль ТАКИХ людей ТАК быстро забыли, КТО вспомнит о вас? А ТАМ, понятное дело, мы все будем...

Да, и сам я, грешный, давненько не был на деревенском погосте под Пинском, на могиле батюшки. Все думаю, ну вот в самое ближайшее время, лучше, конечно, весной, сразу после Пасхи, на Радоницу... В будущем году – обязательно...

Кстати, именно так я и думаю, живя в Москве и вспоминая дом, мать и вообще все, что вмещает в себя великое слово РОДИНА. У него и корень-то РОД... Род человеческий. Забыл род человеческий и, в первую очередь, мы, славяне, свои могилы, свой род. А ведь помните пушкинское: «...любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу»?..

Смотрю на могилу (на снимке, разумеется) Пимена Панченко на Московском кладбище в Минске и невольно вспоминаю другое, тоже престижное кладбище – в Переделкине, под Москвой. На переделкинском кладбище, как и на Московском в Минске, также покоится немало писателей. Причем писателей известных и даже знаменитых, имена которых и по сей день на слуху, а произведения стали неотъемлемой частью русской и мировой культуры.

Я много раз бывал в Переделкине. Чаще всего приезжал в гости к Петру Кошелю, который, слава Богу, и по нынешним временам может позволить себе купить путевку в Дом творчества. Нынче и здесь, а правильнее будет сказать, в первую очередь здесь, обосновались хозяева теперешней жизни, «новые русские». Из писателей немногие имеют возможность приобрести путевку, разве что старики, чьи дети на демократической волне перемен выплыли по ту сторону океана либо на берегах «земли обетованной», и материально поддерживают родителей. Петр Кошель к таковым, разумеется, не относится. Но в последнее время он активно стал делать книги, которые дают ему возможность быть на плаву. И, прямо скажем, книги, что он делает, довольно интересные, и даже полезные.

Так вот, сойдя с электрички, я, как правило, в Дом творчества иду через кладбище. Чтобы скоротать путь. Да и пройтись по кладбищу полезно во всех смыслах: и воздух тут чистый, и место благодатное. Рядом великолепный, начала 19-го века храм Спаса Преображения. И мысли... сами понимаете, какие мысли приходят человеку на кладбище. Всем советую: заглядывайте почаще на кладбище, особенно – проведать могилы родных и близких. И не бойтесь брать с собой детей. Такое бесследно не проходит...

Переделкинское кладбище. Вековые, могучие сосны, ели, березы... Самая настоящая дремучая роща, возвышающаяся на обширном холме. Среди частых, очень густо стоящих оградок хорошо заметная тропа. Вдоль нее, нередко без оградок, могильные холмики, памятники, в большинстве своем скромные и даже более того. Да и оградки такие же незаметные. Изредка по сторонам наблюдаются памятники посолидней. На них невольно останавливаешь взгляд, читаешь надписи. Нет, имена абсолютно незнакомые. Потом узнал, что кладбище это изначально относилось к селу Переделкино. Ну а писатели похоронены здесь с разрешения московских властей. Кто-то по каким-то причинам не «дотянул» до Новодевичьего, самого престижного в Москве, кто-то, как Борис Пастернак, чуть ли не всю жизнь (творческую) прожил в Переделкино на даче... В основном же тут – могилы местных жителей. Правда, они никого

не интересуют. Паломничество, разумеется, к могилам писателей, и в первую очередь, к могиле Бориса Пастернака.

Так и я в самый первый свой приезд в Переделкино, а было это в начале осени 1994 года, намекнул Петру Кошелю, мол, к Дому творчества шел через кладбище, видел множество могил, а вот могилы Пастернака так и не нашел. А хотелось бы посмотреть.

– Я и сам не видел, – отмахнулся Кошель. – Да и что там смотреть. А вот в Дом-музей Пастернака сходить можно.

Обычный, лучше сказать, стандартный двухэтажный деревянный дом, какие строили здесь, закладывая поселок писателей (не по указанию ли самого Иосифа Виссарионовича Сталина?) где-то в середине 30-х. Деревянный, крашенный в зеленый цвет забор. Большой просторный двор с высокими, раскидистыми деревьями по всему периметру ограды. Почему-то запомнились две или три березы у калитки. Сразу видно, что росли они и при хозяине. А может, именно он, хозяин дачи, Борис Леонидович Пастернак собственноручно и сажал их?..

Во дворе, слева от довольно широкой дорожки, ведущей к дому, разбит огород. Аккуратные грядки, по случаю осени уже убранные и почему-то кажущиеся здесь сиротливыми.

У входа в дом встречаем женщину. На вид лет шестидесяти с небольшим, русская, одета просто, что после Москвы особенно бросается в глаза. Проходим в дом. Женщина – за нами. Сразу же догадываемся: она тут за главную. Петр Кошель платит деньги, берет билеты. Вроде складывающейся зеленоватой открытки с изображением Дома-музея. В самом же музее – аскетическая простота и скромность. Рабочий кабинет поэта – наверху. Поднимаемся по не совсем удобной лестнице. Не очень просторная комната. Простые, крашенные в темно-красный цвет полы. Небольшой книжный шкаф, с таким же скромным подбором книг. В основном – словари. Под стать всему и мебель – обычные для тех времен жесткие стулья с деревянной же спинкой, откидное бюро – для писания стоя. За ним, поясняет нам хозяйка музея, и работал Борис Пастернак. Тут же, наверху, прямо в рабочем кабинете, в углу на вешалке висит брезентовый плащ, рядом под ним стоят сапоги довольно большого размера, из грубой кожи. Так и хочется сказать: солдатские сапоги. Прямо из кабинета спускаемся вниз, на веранду. Какой-то столик, какая-то ваза, у стены – кушетка, тоже деревянная. В огромные, во всю стену, высокие окна виден сад, почти весь, и вся дорога через двор к калитке. Хозяйка показывает на кушетку: на ней в минуты покоя любил отдыхать Борис Пастернак. На ней он и умер на исходе дня 30 мая 1960 года...

И только спустя два года, в августе 1996-го, я побывал на могиле Бориса Пастернака. Да, отыскать ее на огромном переделкинском кладбище непросто. В то лето в Переделкине проводил отпуск мой товарищ по Высшим литературным курсам поэт и эссеист Евгений Курдаков. Кроме всего прочего, Женя неутомимый путешественник, человек большого, оригинального ума и широкой натуры. Мы не виделись больше года. Обнялись, искренне и тепло, хотя в силу разных причин большой дружбы между нами никогда не было. Женя взял в руки крепкую палку, что-то вроде посоха, и мы двинули на кладбище. Предварительно завернули в магазин. Кстати, в него хаживал сам Борис Леонидович Пастернак. За хлебом, пояснил мне Женя. Из магазина мы зашли в детский профилакторий, что прямо через дорогу. Разместился он в бывшей усадьбе. О ней напоминают вековые вязы да едва просматривающиеся аллеи парка.

– С этого балкона, – Женя поднял палку в сторону двухэтажного дома с колоннами, – Наполеон в подзорную трубу наблюдал Москву.

Теперь же виден запущенный пруд и беспорядочные строения по его берегам. В глаза бросаются терема за высоченными оградами – приют «новых русских». Непонятно, как можно, имея такие деньги, быть безразличным к окружающей природе? Тем более, что здесь построен твой дом... Повторюсь: и парк, и пруд, и речка в окрестностях поселка в таком запущенном состоянии, что, мягко говоря, вызывают недоумение.

К кладбищу мы подошли со стороны поселка. С краю, как бы у подножия кладбища, могила Роберта Рождественского. Есть здесь могилы и других писателей, но все людей малоизвестных, и даже мне, литератору, вовсе неизвестных, так что о них мы говорить не будем. Могилу Роберта Рождественского я видел и раньше, в сентябре 1994 года, спустя месяц после его похорон. Шел в Дом творчества и с моста через протекающую тут р. Сетунь оглянулся на кладбище. Завидев внушительную гору из еще «свежих» венков, свернул посмотреть, кого похоронили. Помню, как сильно был удивлен, что такую литперсону, как Р. Рождественский, положили прямо на склоне, чуть ли не в болоте.

– И нашли же место ему, – сказал я Курдакову, указывая на могилу Рождественского.

Могила была приведена в идеальный (на фоне других писательских могил) порядок. Зеленый ковер живой травы, забранный квадратной окантовкой из черного мрамора. В изголовье – массивный, слегка окультуренный камень – тоже черного гранита. На нем строгим шрифтом вырублено имя упокоившегося.

– Иного, как на обочине, места он и не заслужил. Тут все правильно. И сам он был камнем, вроде этого, свалившимся в одночасье на русскую поэзию. Хотя, по большому счету, тогда, в пятидесятых – шестидесятых, за исключением нескольких имен, в русской поэзии были сплошь камни да камушки...

– А шума сколько было...

– Потому и стоял сплошной шум и звон, что звонари, вроде Роберта Рождественского, из пустого в порожнее пересыпали слова-камушки...

– И все-таки у Рождественского, если хорошо просеять, можно найти что-то человеческое, поэтичное, – пытался я хоть как-то отстоять одного из кумиров своей юности.

– Если учесть, сколь дурное влияние на русскую поэзию и в целом на людей оказало творчество Рождественского, Вознесенского, Евтушенко и иже с ними, то не хочется не то что отыскивать что-либо стоящее, а вообще вникать в ими написанное. В контексте всей русской поэзии подобное версификаторство – сколь халтура, столь и пошлость. А как безжалостно давили они все традиционно русское, при этом не гнушаясь любых методов, даже откровенной спекуляции.

– Спекуляции?

– А как иначе назвать их вечную игру в «своих»? То они ярые поборники и глашатаи коммунистической идеологии, то, якобы, резкие отрицатели советской системы. Долго им не давали покоя лавры Маяковского. Правда, у Маяковского достало сил и мужества свести с самим собой счеты за все содеянное им с русской поэзией. А эти... Всю жизнь – нос по ветру. Вспомни Рубцова, Прасолова, Передреева, вечных изгоев, но истинно русских поэтов. Эти же, перед тем, как выйти на эстраду, пудрились. Пудрили они, в полном смысле слова, и мозги. Читателю. И власть предрежущим. За что имели хорошие дивиденды, говоря их языком.

– И тем не менее, Женя, они до сих пор на слуху, их помнят, ими интересуются.

– Разумеется. Интерес к ним искусственно подогревается и будет еще долго подогреваться. Такими же фокусниками, как и они сами. И сил, и средств у таких предостаточно. В отличие, опять же, от истинно русских поэтов, литераторов.

Пробираемся в глубь кладбища. Оно заметно возвышается над долиной, образованной здесь неширокой, мелкой, сильно извилистой и быстрой речкой Сетунь. Кладбище старое. Об этом свидетельствуют и захоронения, и деревья. Они незримо, но все-таки отличаются от своих собратьев в ближайшем лесу – некий отпечаток суровости, что ли, печать вековой тайны лежит на них, деревьях переделкинского кладбища. Как, впрочем, и на деревьях других погостов. Долго думал, как закончить это повествование. Ведь напрочь забыл, кто и как похоронен рядом с Борисом Пастернаком, помнил, что шибко мудрено, с каким-то, известным только узкому кругу посвященных, подтекстом. Ехать специально в Переделкино, ходить по кладбищу в поисках могилы поэта не было ни сил, ни времени, ни желания. Через своего

друга, московского поэта Юрия Савченко, обратился к Евгению Курдакову, ныне живущему в Великом Новгороде. И вскоре получил письмо, которое, думаю, будет уместным привести здесь целиком.

«Валера, дорогой, здравствуй! Рад был получить от тебя привет... Ну, а Пастернак... Знаешь, я так отошел от всего этого, что многое просто уже и вылетело из головы от невосребованности. Поэтому привожу тебе выписку из дневника, где как раз и описано кладбище и могила Пастернака.

«17 ноября 1991 года, воскресенье, Переделкино.

Ходил на кладбище. Сырое, серое, туманно-тусклое утро. Воздух холодный, насыщенный какой-то позднеосенней прелью уже и не листья, а всего вокруг, земли, деревьев, сырого кирпича, а на кладбище еще и прелью огромных мусорных куч по берегам Сетуни. Вообще, все загажено, вывернуто, завалено, – страшно неуютно везде, – м.б. еще и от промозглой сырости и затянувшейся осени, которая сама себе не рада...

Могила Пастернака страшно безвкусна, плоска, и вместе с могилами жен похожа на трехспальную кровать. Здесь присутствует тот же волюнтаризм, что сопровождал его всю жизнь, но волюнтаризм уже не его самого, а его окружения, среды. И контрпрофиль на плите в стиле «неомодерн» работы Лебедевой, сделанный хотя и по рисунку его отца, не лишней раз подчеркивает волю этой среды... (Профиль Пастернака на могильной плите-памятнике врезан внутрь, что, по замыслу, должно свидетельствовать об уходе поэта от нас. – В.Г.).

А похоронен он ногами к храму...

Рядом – могила четы Чуковских, тоже не без причуд, и плоское, без примет, ложе последнего упокоения Арсения Тарковского... (В 1991 году еще не было гранитного арочного надгробия, что возведено ныне. Не было и высокого деревянного креста, символизирующего могилу Андрея Тарковского, знаменитого кинорежиссера, сына поэта А. Тарковского, похороненного под Парижем, на кладбище русских эмигрантов Сен-Женевьев де Буа. – В.Г.).

Пусто, тоскливо, грязно, сыро. мутрно...»

Вот такая запись.

А похоронены рядом с Пастернаком:

1. Зинаида Николаевна (вторая жена, бывшая женой Нейгауза).

2. Сын Зинаиды Николаевны Адриан.

3. В дальнем углу отдельно от этих троих – могила первой жены Пастернака – Евгении Николаевны.

Знаешь, Валера, сейчас в год Пушкина как-то даже кощунственно вспоминать и думать об этой коdle, которая сейчас правит праздник. Я думаю, нужно начинать жить так, как будто их не существует, просто нет и не предвидится.

Ну, что ж, всего тебе самого доброго, иногда узнаю о твоих успехах, так хотелось бы почитать и книгу твою. Будет ли? Предвидится ли?..

Пиши.

Обнимаю, – Евгений Курдаков.

17 марта 1999 г., Великий Новгород.»

Книга моя в Москве судя по всему, скоро, увы, не предвидится...

P.S. Здесь же, на переделкинском кладбище, огороженные высокой сеткой захоронения старых большевиков, что доживали свой героический, горький век в одиночестве в пансионате для них и организованном, который находился также в Переделкине, в противоположном от писательского дачного поселка углу. Строгие, сурово-однообразные могильные надгробия. Чем-то страшным, нечеловечески жутким веет от этого кладбища на кладбище. Такой по сути была жизнь и судьба этих творцов «первого в мире государства рабочих и крестьян»...

В Переделкине же с давних времен находилась и теперь, после определенного перерыва, находится Летняя Резиденция Патриарха Русской Православной церкви. Здесь в окружении

домашней живности находит отдохновение от многотрудных пастырских забот нашего смутного и духовно немощного времени Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II. В тиши переделкинских сосен возносит Он к Престолу Всевышнего Первосвятительские молитвы о спасении нас, тонущих в житейском море...

Такие вот, земные и небесные, пути-перепутья, Боговы и человеческие предназначения подмосковного поселка Переделкино, вписавшего не одну яркую страницу в историю Русской (и не только русской) жизни.

1998

## Нести свой крест

В молодости, когда все еще была, пусть и незначительная, мода на поэтов, все любили Есенина. Из здравствующих – Асадова. О нем ходили легенды, едва ли не больше, чем о Есенине. Я тоже любил Есенина. И совсем не любил Асадова. Позже, с годами понял почему: за фальшь. Органически, всем нутром не принимаю фальши, за версту ее чую. Как, впрочем, и всякого рода ложь. Это у меня от матери. Да и отец по сути был таков. Просто жизнь заставляла «играть». Я тоже «играю». Тем не менее ложь и фальшь меня коробят, и даже убивают. С годами все больше.

Мне шел пятнадцатый год. Уже напечатали мои первые стихи. Я уже «знал» Есенина: «В зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь», – размахивал я руками перед сверстниками в обшарпанной беседке. Только что растаял снег. Вот-вот выстрелят почки. Мы прямо из горла – по кругу – пьем бормотуху. «На рукаве своем повешусь»... И повесился... В самом деле – повесился!.. Я тоже мечтал о подобной участи – только бы – поэтом! Прости, Господи...

Но уже летом, почти ничего не понимая, и в поэзии тоже, я читал Блока. Книга в темном переплете, выпущенная в серии «Школьная библиотека». Я не верю себе: это сильнее Есенина. Он, Есенин, отступил на второй план. Я еще мало что понимаю, я-то весь насквозь рабоче-крестьянского замеса, но тайна, тайна, которой и разгадки-то нет – тайна поэзии Блока увлекла, очаровала меня. Я сразу и навсегда, с самого первого чтения безоговорочно полюбил стихи Блока. Музыка его стиха зазвучала во мне. Я принял ее, как принимают воздух, воду, хлеб...

Потом уже, когда мне перевалило за тридцать, когда уже не раз по хребту моему гуляла беда, кое-что открылось мне и в его, блоковской, истории (эпохе его, судьбе). И я ужаснулся (была, конечно, и радость какая-то в этом открытии): как часто я похож на него, как (независимо от моего желания) повторяю его (ошибки). Нет, что вы, я всегда помнил, знал его масштаб. И свой, поверьте...

Десятки, сотни раз повторял, ни на секунду не подозревая, что ждет меня совсем уже близко, за первым поворотом судьбы:

*В кабаках, в переулках, в извивах,*

*В электрическом сне, наяву,*

*Я искал бесконечно красивых*

*И бессмертно влюбленных в молву...*

Помню, как ломал голову: что же это за «электрические сны»?! Потом уж понял, да что там – на собственной шкуре постиг, и был-то совсем еще молод, чуть ли не зелен. А среди ночи, где-нибудь в чужой постели, в голове, в похмельном, перевозбужденном мозгу роились, кипели, бурлили, разве что не разрывая черепную коробку, цветные кошмары снов-не снов, бреда-не бреда, так, электрические разряды накопившихся с избытком впечатлений, усталости и неизбывной боли, что свалилась вдруг с изменой, казалось, до смерти преданного человека. И никак не проснуться, не смахнуть это наваждение, это раздирающее душу и плоть безумие, электрический сон... И потом – явь, нисколько не легче ночного кошмара. И если бы не «бессмертная влюбленность в молву» (поэзию), наверняка в смиренной рубашке забрали бы из морга. Но Господь милостив...

Господь милостив. Впрочем...

Впрочем, для Александра Александровича Блока примерно так все и закончилось.

И вот снова, уже на пятом десятке, читаю о нем у Вл. Ходасевича: «Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть „Коробейников“, которых он так любил». Но «Коробейники», можно сказать, и моя самая любимая (русская) песня. Именно с них, с «Коробейников», и началась моя большая любовь к народной песне. И вообще, сколько помню, с ранней юности, даже с детства, когда повально все свихнулись на «битлах» (меня от них, как, впро-

чем. от всего подобного, поныне воротит), я заслушивался народными песнями. И любил, без преувеличения, все: русские, украинские, белорусские. Но «Коробейники» всегда стояли первыми: «Ой, полным-полна коробушка...» Я поначалу и не знал, кто же это такие, коробейники... Но сердце, но душа сами собой уходили в полон слов, музыки, ритма. Таким был и я в своей любви, в своей печали, в своих загулах. Они обычно и начинались так: ой, полным-полна моя коробушка...

Года два назад на концерте в ЦДЛ услышал тоже давнее, из детства еще, а до этого лет двадцать не слышал, но смутно помнил всегда, – внутри жило:

*Два кольоры мои, два колльоры,  
Оба на полотні, в души мойй оба.  
Два кольоры мои, два кольоры —  
Чэрвоный – то любов, а чорный – то журба.*

Спину мою – будто инеем обсыпало – озноб сковал, долгий, медленно переходящий в жар... Когда-то, расставаясь с женщиной, которую сильно любил, попросил ее связать мне шарф, чередующийся одинаковыми, поперечными полосами, красными и черными, такова любовь, такова по сути и жизнь... Сколько лет прошло, а я все также зимой кутаю горло в тот шарф. Даже в Москве порой смотрят на меня, а точнее, на мой шарф, с откровенным любопытством...

Прозу в отличие от поэзии я начал (по-настоящему) читать довольно поздно. И тут, точно как в поэзии Блок, меня околдовал Бунин. Сразу и навсегда. Хотя до Бунина прочел уже многих, и сейчас перед каждым из них, а это Пушкин, Лермонтов (все проза), Тургенев, Толстой, Горький..., я благодарно и покорно снимаю шапку, первым навсегда остался Бунин. Но вот, сколько ни читал его стихов – не ложились они, как его проза, мне на сердце. Я их понимаю, я их принимаю, я их люблю, но... Блок, Есенин, Павел Васильев, Борис Корнилов, Заболоцкий, Рубцов, Прасолов, Тряпкин... А вот Бунин как поэт в этот ряд никак не становился. Даже Юрий Кузнецов, и тот покорила меня на старости (под сорок) лет. До этого много раз читал-перечитывал – не шел он мне, но потом... А вот бунинская проза, его рассказы, сколько ни читаю их, всякий раз, подобно Розе Иерихона, воспетой им, распускаются в сердце моем неумирающим пламенем.

И когда заходит разговор о любимых поэтах, начинаю с Александра Блока, правда, всегда делаю оговорку: не только Блок, но он для меня – первый. Я не назвал Пушкина, Лермонтова, они вообще, как бы на небесах, как само собой разумеющееся. А когда речь идет о писателях, первый для меня – Иван Бунин. Рассказы его, как стихи любимых поэтов, читаю в минуты душевного кризиса. Помогает.

Как-то поэт Микола Федюкович, зная мое пристрастие, стал цитировать мне «Окаянные дни» Ивана Бунина: «Блок открыто присоединился к большевикам... Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый». Там есть еще о Блоке, но, думаю, достаточно и этого. Затем раскрыл том А. Блока. Вот как А.А. отзывается о Бунине-поэте: «Из стихотворений этих запоминаются немногие отдельные строки, а целиком, пожалуй, только одно – „Христос“, и то не без досады и недоумения»...

Что тут говорить, сперва я даже опешил: как так?! А в принципе, ничего удивительного, как в физике: однородные частицы... И Ал. Блок, и Ив. Бунин – современники, люди одного круга, поэты (Бунин считал себя в первую очередь поэтом и очень обижался, если стихи его недооценивали), великие писатели одного народа, гении. А таким в одно время на земле тесно...

Хорошо ли, плохо ли – много во мне тех качеств, что сделали Блока Поэтом, Бунина – Писателем: сентиментальный, мечтательный, влюбчивый, педантичный, желчный, злой, нетерпимый, гордый... Вот еще бы – талант. Но это – от Бога. Тут ни купить, ни вымолить: свой крест неси.

1998

## Мой город

Я родился в день и год, когда генерал Батицкий поставил свинцовую точку на жизни кровавого сластолюбца Лаврентия, в немного русском, немного польском, в тихом городке западнобелорусского Полесья.

Он старше златоглавой столицы, да, видно, не вышел родом. К слову, у нас с ним есть что-то общее – я появился на свет этаким пухлощеким зачатком богатыря: пять сто, а вот дальше не задалось, никогда больше семидесяти кило не тянул. Да и рост у меня не ахти какой. По молодости это сильно мучило меня: нравились стройные, длинноногие... Только и было, что смотрел им вслед.

Такая судьба и у моего Города: был он и центром княжества, и стоял на некогда великом торговом пути, и от его стен не раз шли дружины на помощь белокаменной столице городов российских. Много чего было в нелегкой судьбе моего Города. И пусть он давно не столичный град, мой Город – столица моей жизни, столица жизни моих близких и моих друзей. Мы любим его, для нас он дороже столиц и дороже других великих городов земли. Столицы тем и величавы, что есть такие города, как мой Город.

Его шестнадцать раз сжигали завоеватели. И, конечно, не раз потому лишь, что не могли дотянуться до первопрестольной. Вот и отводили злые души на тех городах и весях, что стояли на их пути к первому городу державы. На этом пути всегда стоял и мой Город.

Зажили раны и последнего нашествия. Три долгих года пылили по улицам моего Города, топча и руша судьбы людские, намертво сделанные сапоги солдат Гитлера.

С тех пор мой Город, если и слышит чужую речь, – это речь гостей. А сам он говорит на языке тех, кто нарек его когда-то тихим и чистым, как в те давние времена вода в реке, что течет у его стен, именем.

Отстроили, подняли к небу мой Город. Но сколько бы ни построили в нем светлых и высоких зданий, не заменят они храма, что почти четыре столетия венчал мой Город на его главной площади.

Это было тем самым, смятенным, угрюмым летом пятьдесят третьего.

Дом наш стоял в центре Города, неподалеку от храма. Пришли, предупредили:

«Ночью будем взрывать. Всем уйти поближе к окраине, подальше от храма». Они любили приходить ночью. Они все делали по ночам. Днем они ставили однообразные памятники, ночью взрывали храмы, вводили людей...

Мать, беременная мной, хорошо помнит тот день и ту ночь. Все ждали страшного взрыва. А взрыва не было. Глухо содрогнулся воздух, и как-то неестественно приподнялся храм. На мгновение он застыл над городом, покачнулся у самых звезд своими вежами, видно, думал поддержат его Те, кому не одну сотню лет отправлял он из своих стен молитвы. Увы, недолго качались в небе его величественные стены. Осел, рухнул храм, развалившись на огромные глыбы.

Кому он мешал, зачем понадобилось взрывать его? – до сих пор никто не знает...

Тогда много строили. Не хватало материалов. Особенно для взлетной полосы под военный аэродром, как толковали потом старожилы. Нужны были бетон, щебень. Вот и постановили пустить храм на щебенку. У нас такое могут. На щебенку пустить храм, это не из щебенки заново построить. Вот и пустили...

Так усердствовали, что привалило глыбой двух солдат. Кого-то из чиновников наказали – сняли с работы. За солдат, конечно, не за храм. А если бы и за храм, разве этим вернешь его Городу?..

А еще через год снесли наш дом – на его месте военные решили построить себе дом. Большой, четырехэтажный. Таких жилых домов мой Город еще не знал. А нам отвели уча-

сток на окраине. Привезли под фундамент груды камня от бывших стен храма. Столько тогда было этих кусков да глыб – не под одну сотню домов можно залить фундамент. Да и взлетную полосу, оказывается, делать не стали – трудно ломались глыбы на щебень. Настелили полосу из металлических каркасов. И полоса эта вскоре не понадобилась – разогнал Хрущев авиацию, как злой ветер облака. Так вот, привезли эти самые куски камня на наш новый двор. Увидела их мать – и к бабушке;

– Хвэдор! Я липш у лис пойду жыты, а на святых камнях ны дам хату ставыты!..

Побежал бабушка к прорабу, худосочному невысокому еврею. Так, мол, и так, жонка разводом грозит.

Улыбнулся тот в рыжеватые усы и сказал только: «Умная у тебя жена. Пусть не волнуется».

На следующий день нашелся и цемент, нашелся и бутовой камень. Видимо, не остыл еще в ушах щупленького прораба гул войны с «безродными космополитами» – стоял еще на всех площадях и перекрестках усатый вождь, что придумывал, а затем руководил «войнами». Знал прораб тот, что войны эти перемололи не только миллионы живых людей, рушили они соборы, костелы, синагоги... Нет теперь их в моем Городе. А были!..

Вот уже минул не один год, как снесли и тот наш дом, что стоял на фундаменте, что помог поднять понимающий прораб-еврей. Нет уже и отца моего. Жив ли ты, добрый прораб? Если жив, дай Бог тебе здоровья и плохой памяти, чтобы ты спокойно доживал свой век, не мучимый воспоминаниями о том, как некий руководитель-дурак заставлял тебя не только строить дома, но и рушить храмы.

Знаю: у его детей так же, как и у меня, обливается кровью сердце, когда они видят старые фотографии Города. Потому что нет таких снимков прошлого моего Города, на которых не было бы видно храма. Александр Блок, солдат николаевской армии, не мог попасть в мой Город – в нем тогда были немцы кайзера. Но великий поэт, находясь в двадцати верстах от моего Города, был на его улицах и площадях горячим своим воображением – он издалека ясно видел острроверхие купола храма, колокольню и его светлые стены, – настолько высок и велик был храм...

Мой Город растет. Об этом вам скажет, светясь уставной строгостью, любой постовой милиционер. И до того вырос однажды Город, что в медвытрезвителе прочно не стало хватать койко-мест его жителям и гостям.

Долго, нет ли гадало начальство, но выход был найден достойный. Даже не знаю, почему грудь авторов сего прожекта осталась без традиционных орденов?

В одночасье самая недремлющая и резвая служба отечества, загодя маленько благоустроив и, конечно, поменяв вывеску, справила новоселье в бывшем морге. И любителям хмельнуться страшно, и недремлющим поборникам трезвости своды новой «вычмуриловки» нет-нет да и напоминают, что они тоже ходят под Богом...

Нет, не только я чувствую себя неуютно в моем Городе. Памятники, и те здесь, как у сварливой тещи: «Сегодня живи, а завтра...»

Только с третьего захода, вроде бы, обрел у нас постоянную «прописку» «железный Феликс». Тут уж надо отдать должное наследникам его славной команды. Отвели наконец крестному отцу законное место – смотрит он на своих последователей пронзительным взглядом. Узнает ли? Поди угадай в холодных, металлических глазах.

«Заблудился» и другой герой моего Города, юный партизан. «Ушел» с улицы\*, что не так давно ни с того ни с сего нарекли его именем, на перекресток улиц, носящих имена лесных генералов, да так и остался там, словно испугавшись их громких партизанских чинов и имен.

А на улице того героя жил народный песнярь Якуб Колас. Ему тоже собираются открыть памятник. Где поставить? – до сих пор ломают головы городские «голова».

Гораздо проще было с основоположником соцреализма, великим пролетарским писателем. Его место, конечно же, не в детском саду, где он когда-то дремал, глядя на однообразные хороводы желторотой детворы. И его твердо\* определили между кинотеатром – «рухнувшей» некогда церковью – и психдиспансером. Так и остался он одним глазом глядеть на киношную публику, другим взирать, как бы завернувшийся в очередной раз «шизик» не врезал чем-нибудь по макухе. Вот уж действительно – реализм. Социалистический...

Ладно, можно сколь угодно куражиться и что угодно плести, но правду-матку так просто не перекрутить. Кому-кому, а вождю революции определили в моем Городе место положенное. По чину и рангу. Тут уж хоть так смотри, хоть этак. Стоит он себе и стоит в революционном порыве на главной площади, почти на том же месте, где был когда-то храм – зря, что ли, старлся, ночей не спал в шалаше: никаких храмов, я выше всех храмов...

До сей поры никто не знает, чем провинилась мужественная партизанская мадонна, верная жена и любящая мать, что оставила и мужа, и дитя и бросилась в схватку с немецким фашизмом, как совсем недавно боролась с «бело-польскими панями». Видно, недостало ей при жизни битвы с «мракобесием» католицизма. Хоть намучилась, и не мало, в застенках дефензивы\*\*, но снова поставили ее так, что не отвести непреклонный взор от ненавистного и все еще живущего костела. Неужто он и времена надвигающегося всеобщего блага переживет?!

А может, побоялись, что поверни ее на девяносто градусов – и увидит она чиновные лбы хозяев первого дома Города? Как густо катят они в «Волгах» и снуют мимо ее железобетонной решительности. Все мимо и мимо, так недолго и от дела оторваться, на алтарь которого положила она живот свой...

Скажите, где-нибудь, когда-нибудь вы встречали в памятнике средневековой архитектуры сортир? Не-ет? Братцы, приезжайте в мой Город и уж, если подопрет, жмите напрямик на главную площадь. Там в здании бывшего иезуитского коллегияума и отведете душу! Будет потом что вспомнить...

Но кто бы и что бы ни говорил, я люблю свой Город. Как любят его дети и внуки того мудрого прораба-еврея, как любят его дети и внуки тех, кто молится сейчас в костеле, и дети с внуками тех, кто когда-то категорически голосовал за закрытие его, как, впрочем, и за упразднение православной церкви в пользу кинотеатра «Дружба», кто с наслаждением рушил, уже на моей памяти, синагогу. Мы живем в нашем Городе, мы любим его, любим даже тогда, когда порой и браним за что-то (вроде он виноват?); мы уезжаем и возвращаемся, объясняем в любви и ссоримся друг с другом, женимся и разводимся, хороним родителей и рожаем детей...

Так давайте же всегда любить друг друга хотя бы потому, что все мы любим свой Город, а через свой Город любить все города, потому что у всех городов есть свои прорабы, хлебопеки, врачи, учителя, портные... И пусть никогда больше не будет у городов наших тех, кто разрушает храмы...

1984—1989 гг.

## Пинский литературный пантеон

Подсказкой написать эти заметки я обязан светлой памяти Сергею Толкачеву. Было это лет десять тому. Сидели мы у него на квартире, вспоминали пинских литераторов, к тому времени почивших, и Сергей в свойственной ему манере этак высокопарно, с эпатажем дымя трубкой, предложил мне: «А почему бы тебе не написать о Ларине, он тебя учил в школе, можно сказать, ввел в литературу, так что это – твоя святая обязанность»...

Тогда еще ни о каком «Бюро находок» я и не помышлял, но «прозой» уже грешил. Словом, над предложением Толкачева задумывался не один раз. Более того, оно часто не давало мне покоя. И вот, когда книжка моя, куда вошел и довольно большой цикл рассказов-заметок «Бюро находок», давно уже в наборе, а Сергея Толкачева, к великому сожалению, нет в живых, я решил составить некий что ли некрополь пинских литераторов, с кем в разные годы и в разной мере сводила меня судьба.

Первым, как вы уже догадались, был Ларин Владислав Иванович. Стукнуло мне о ту пору лет 14—15. В школе к сожалению, он меня не учил. Словесность в моем классе преподавал другой учитель. Но В. И. Ларину не было равных, он был прекрасным знатоком русской литературы и языка, окончил два ВУЗа. Мне повезло с ним общаться всего несколько раз. И самое яркое, что осело в моей памяти, это его, как я сейчас понимаю, мудрейшее пожелание, а точнее наставление. Узнав, что я пишу стихи и даже печатаюсь, Владислав Иванович, глядя на меня своими добрыми глазами, сказал простое, и повторяю, мудрое: «... не пиши стихов – это беда, страшная, большая беда. Очень часто дар божий оборачивается проклятием судьбы...»

Я же тогда, счел это за глупость, за дикость спивающегося, пусть и умного, человека.

Как я ошибался... Как ошибся!.. Почему я не послушал тогда Тебя, педагог, прекрасный словесник, талантливый человек, Владислав Иванович Ларин?..

А еще, я как сейчас помню, с каким сожалением, болью и непониманием смотрели вослед ему мои родители, дядья, соседи, когда он, худой и высокий, да что там, длинный и тощий, как Дон-Кихот, в широченных, старомодных штанах, что болтались на нем выше щиколоток, чуть ли не бегом мимо нашего дома, а жил он на соседней улице Чкалова, несся-торопился в магазин за очередной бутылкой дешевого вина: мучило лютое похмелье, мучила горькая жизнь...

Тогда же ходили разговоры, что недавний учитель Ларин за бесценок спускает свою великолепную библиотеку. Бутылка-другая вина – и бери подписное издание, уникальный словарь, справочник, энциклопедию... А сколько раз уходили от него случайные собутыльники, прихватив с собой парочку томов редких, зачастую дореволюционных изданий, не знал даже сам Владислав Иванович.

А еще я помню, как нам, семнадцатилетним оболтусам с «Пожарки» (так тогда в городе звали шпану, что кучковалась вокруг улицы Пожарной), он, Владислав Иванович Ларин, уже окончательно спившийся, читал по памяти поэму «Лука Мудищев». Мы, еще недавно советские школьники, а теперь всякого рода «артельщики», и в дурном сне не могли приснить, что подобное могло быть написано, тем более – напечатано. Слушали, затаив дыхание, а когда В. И. Ларин закончил и робко спросил насчет стаканчика винца, стыдливо шарили по карманам мелочь.

А был он, Владислав Иванович Ларин, талантливым поэтом, баснописцем, прозаиком, автором повестей и рассказов. Правда, все, что он мог видеть своего в печати, выходило под разными псевдонимами, очень редко и совсем не в престижных изданиях.

...И умер он, раб Божий (и не только Божий) Владислав в канаве, у железнодорожных путей, между улицами Гайдаенко и Железнодорожной, неподалеку от дома, в котором жил,

правда с другой стороны от улицы, на которой в те годы жил я. И, то ли он шел в магазин, то ли из магазина, – одному Богу известно...

Я же о смерти Ларина узнал, вернувшись из армии в июне 75-го.

Другой, кто в моей первоначальной литературной судьбе сыграл неизгладимую роль был старейший пинский журналист и литератор Коротышевский Василий Михайлович.

Я пошел в восьмой класс и послал свои стихи в «Полесскую правду». Какова была моя радость, когда, спустя две недели, пригласили меня на очередное заседание литературного объединения. Впервые порог «Полесской правды» я переступил в конце сентября 1968 года. Председателем литобъединения тогда был В. М. Коротышевский. Помню, от волнения я потерял дар речи. Встретили же меня куда как хорошо. И больше других старался, разумеется, Василий Михайлович, ведший литобъединение.

А еще спустя две-три недели меня начали печатать. И в этом опять же главную роль играл В. М. Коротышевский. Сам он звезд с неба не хватал. Хотя писал стихи и прозу. Писал немного, но различным газетам, республиканскому и местному радио, без преувеличения, отдал всю жизнь.

В свое время в Польше Пилсудского он сотрудничал в газетах Варшавы, русских газетах. Брал интервью у самого Сергея Рахманинова, других известных эмигрантов.

Это его и подвело: НКВД подобного никому не прощало. Пришлось расстаться с Минском, где В. М. Коротышевский работал на Белорусском радио и вернуться в родной Пинск, на тихую, зеленую улицу Ясельдовскую.

Не менее тяжелый удар судьбы поджидал Василия Михайловича здесь уже ближе к старости. Его старший сын Игорь, моряк торгового флота из Риги, поехал как-то к родителям в отпуск. Поехал, чтобы уже никогда не вернуться в Ригу, чтобы больше ни разу не переступить порог родительского дома. Вместе со своей невестой он погиб в автомобильной аварии. Их и похоронили вместе. С Василием Михайловичем мы не однажды приходили на их могилу на старое кладбище, что на улице Спокойной. Я помню, как сильно горевал, как тяжело переживал эту трагедию Василий Михайлович.

От кручины до депрессий спасала его еще одна страсть: Василий Михайлович был заядлый лодочник, рыбак. На своей старенькой моторке исходил он буквально все верховье Припяти, все ее известные и неизвестные притоки, затоки, ближние и дальние заводы. Очень сожалею, что так ни разу и не отправился с ним в подобное плавание. А может, по малости лет меня в такие, зачастую рискованные, путешествия, специально не приглашали. Знаю одно: почти во всех таких похождениях по окрестным водоемам неизменно сопровождала его верная спутница – жена Александра Ивановна, к слову, тоже талантливый журналист, литератор.

Не забыть мне и того, как тепло провожало меня в армию, уже окрещенное «Орбитой», наше литобъединение...

Умер Василий Иванович Коротышевский летом 1976 года. Как раз спустя год после моего возвращения из армии. Хоронили его всем литобъединением. Разумеется, были и родственники. Но я, как вы понимаете, о другом, о литераторах.

А еще был в Пинске Измаил Лазаревич Аграновский. Попросту Изя, как звали его мы, литераторы, и наше окружение. Поэтом он не был, прозаиком тоже. В литобъединение никогда не входил. Более того, игнорировал его. Но он был, если не учителем моим в литературе, то состоял на службе завучем сменной школы рабочей молодежи NN№3. Я имел честь учиться в сей школе. В народе все называли ее «вечеркой». Находилась она в двухэтажном особняке между проходной «спички» (фанерноспичечного комбината) и ателье «Березка».

Хорошо помню, как году 72-ом на мой вопрос об Александре Солженицыне, И. Л. Аграновский сравнил шумевшего тогда на весь Божий свет писателя с чиреем на шее. Его, мол, сперва всячески прячут (некрасиво ведь), а затем по возможности от него избавляются. И чем раньше, тем лучше...

Дружили ли мы с Измаилом Лазаревичем? Конечно, нет. Таких, как я, в друзья к себе он не подпускал. И вообще, как я сейчас догадываюсь, особых дружб Аграновский Измаил-Изя ни с кем в Пинске не водил. А вот о Ларине отзывался неизменно высоко. Да и сам он, по моему, человек был невредный. Шпане из «вечерки», по крайней мере, нравился, и сам при случае любил козырнуть своим «одесским», как он говаривал, прошлым. Частенько, дабы подтвердить это, расстегивал рубашку, обнажая лихие «мастюхи» (татуировки), сделанные весьма профессионально. При этом неизменно повторял: «У меня тоже имеется паспорт на верхние нары»...

Потом Измаил Лазаревич уехал в Брест, на работу в газету «Заря». Следы же его, как я знаю, потерялись в Таллине, где он и «почил в Бозе». Хотя ни в какого Бога, конечно, не верил. А вот журналистом, газетчиком И. Аграновский был, что называется, от Бога...

Федор Туманов. Тут столько неясного, столько, в самом деле, туманного, что и писать о нем боязно. Все, что запомнил, – его внешность. Довольно интересную, его манеру чуть ли не всегда носить шляпу, его голос, рокочущий, можно сказать, басовитый. Правда, с сильной хрипотцой. Видать, от частых и сильных возлияний. Тем не менее, Федор Григорьевич артистически великолепно, без всякой там гримасы, чем так часто грешили и грешат разного рода популярные современники, самозабвенно, как истинный поэт, читал свои стихи. А еще помнятся, пусть и не частые, совместные наши выпивки. Был он в годах, служил, как тогда говорили, в органах. Правда, было это еще до пинского периода его жизни. Может, еще во времена не такой еще далекой войны. Тем не менее, ко мне он относился, скорее всего, с преувеличенным почтением, хотя по возрасту я был для него дитя.

Последний раз мы виделись летом 1977 года. Встретились случайно: Пинск-то был велик, вот и столкнулись. Где-то в районе только открывшегося «Дома на набережной». Он собирался в отъезд. В последний и бесповоротный. Поменял квартиру, ходил по чиновникам, выправляя какие-то бумаги. Я же работал в «Полесской правде» и в «Доме на набережной» был по своим служебным делам.

Встретились. Слово за слово, и двинули в ближайшую пивную. Все кончилось тем, что Федор Григорьевич меня долго и много хвалил, а еще больше плакал: жизнь прошла, а точнее, бездарно загублена.

Так оно и случилось: Ф. Г. Туманов в своей могилевской квартире умер, сгорев от закуренной по пьянке папиросы...

Андрей Сасевич... Я даже запомнил его отчество. А вот сам он стоит перед глазами как живой. Хотя близкими друзьями мы никогда не были. Но многие годы, что называется, тесно общались. Да и какое-то время вместе работали в «Полесской правде».

Узнал я его еще до армии. Был он лет на 6—8 старше меня и, помнится, пришел на заседание «Орбиты», приехав в Пинск в отпуск. А работал он тогда шахтером в Донбассе. Я даже запомнил его лицо. Такие лица обычно бывают у людей суровых профессий – шахтеров, взрывников, моряков, металлургов... На лице у него осталась синяя, вроде татуировки, отметина от давнего шрама. Подобные следы-рубцы на лице и на руках, как правило, и выделяют горняков из общей массы людей.

Запомнил я и его стихотворение. Оно называлось «Руки». Думаю, вы сразу же догадаетесь, о каких руках там шла речь.

Не помню, виделись ли мы еще в ту пору, но точно помню, что снова увиделись, когда я уже вернулся из армии, а он приехал в Пинск после учебы в Минской Высшей партшколе. Был полон оптимизма. Какое-то время поработал на стройке. Потом его пригласили на должность корреспондента в «Полесскую правду». И ничего удивительного: его стихи, его по-настоящему живые материалы постоянно публиковались на страницах «Полесской правды», областной «Зари», других изданий.

Вскоре с «Полесской правдой» мне пришлось надолго расстаться. Тем не менее, я всегда оставался ее неизменным читателем, и всегда, год от года все чаще, находил на страницах любимой газеты объективные, глубокие статьи Андрея Сасевича, его очерки о людях труда. Часто он вместе с ними бок о бок работал, знал не понаслышке; знал и то, о чем писал, как говорится, из первых рук. А вот стихов уже не писал. А может, стеснялся их показывать, тем более – публиковать...

Я искренне порадовался за Андрея, когда его утвердили в должности заведующего отделом транспорта, промышленности и строительства «Полесской правды» – у него была большая (по нашим меркам) семья, и лишняя копейка в таком случае не помеха. Да и дети его в ту пору были еще школьниками, а ждать помощи ниоткуда не приходилось.

И вот, чем ближе подхожу к развязке его совсем непростой и недолгой жизни, тем больше хочется остановиться, поставить точку. Как-то один из тогдашних сослуживцев «Полесской правды» рассказал мне такой случай из его, Сасевича, совершенно открытой, прямо-таки простодушной жизни. Андрей совсем не был выпивохой, так, от случая к случаю рюмку-другую водки, бокал пива. Кто из нас, мужиков, в этом не грешен?

Так вот, обедал Андрей в горкомовском буфете, а «Полесская правда» в ту пору «квартировала» с местными партийцами в одном, известном всем пинчанам здании. Видит, появилось свежее пиво. Ну, думает, раз продают пиво, почему бы не купить, не выпить?.. Но тут один из партийных пролаз, а такие, разумеется, водились от Политбюро ЦК до последней колхозной партячейки (они-то как раз и предали партию, а с ней и великую державу, честным сыном которой был и Андрей Сасевич), заметив пиво на столе Андрея, даже не становясь в очередь, – он тоже зашел перекусить, – подбежал к столу, за которым сидел Андрей, его непосредственный подчиненный, и стал вынюхивать: нет ли чего более существенного у газетчика, что подвластен ему. И так и этак крутился, не постеснялся под стол заглянуть. Увы, ничего у Андрея Сасевича, человека ответственного, знающего свое дело и людей, правда, излишне доверчивого, тот ищейка из партии так и не нашел. Но тут же, насупив свои рыжие брови, на весь буфет заявил Андрею: «Я вам советую во время работы не употреблять даже пива!», – с чем и удалился...

А умер Андрей Сасевич, словно тот его начальник и сглазил, куда как глупо. Он, повторюсь, жил просто нараспашку, любил незлую шутку, любил вволю посмеяться, порой это доходило у него до хохота. Так вот, однажды в камандировке, засидевшись за дружеским столом, Андрей, как это часто с ним бывало, что называется, от смеха живот надрывал. И вдруг посишел, почернел лицом. Все спохватились: что могло так враз произойти с человеком?! Тут же вызвали «скорую»: думали что-то с сердцем. Но потом, уже после его кончины, патологоанатомическое вскрытие показало: смерть наступила от... асфиксии. В дыхательное горло попала крошка. И стало на нашей злой земле еще одним хорошим человеком меньше.

И был этим человеком журналистом и поэт Андрей Сасевич. И было ему немногим более тридцати пяти лет...

Толкачев Сергей Владимирович. Написал это имя и рука непроизвольно остановилась. И не потому, нет, не потому, что мне о нем сказать нечего. Из всех, о ком я написал выше, был он мне самым близким человеком. И по времени, и по судьбе.

Сергей Толкачев был обладателем прекрасной библиотеки и... довольно скверного характера. Он просто физически не переносил и малейшей, даже абсолютно справедливой критики в свой адрес. Был болезненно тщеславен. Правда, последнее для творческой личности не столько грех, сколько беда.

Тем не менее Сергей Толкачев с сыновней любовью ухаживал за матерью до конца ее дней. А прожила она более восьмидесяти лет и в последние годы тяжело болела, не выходила из дому. И еще: Сергей умел по достоинству оценить талант, любил писателей, поэтов, художников, музыкантов, актеров...

Сам же Толкачев в пинский период своей жизни (1980 – 1997 гг.) жил одиноко. Разведясь в Брянске с женой, любовниц, по крайней мере открыто, не заводил. Хотя женщин, порядочных женщин, просто боготворил. А жил Сергей Владимирович своим любимым писателем Александром Грином. Коллекционировал его книги, писал о нем эссе, статьи и даже роман. К слову, С. Толкачев – лауреат Литературной премии имени Александра Грина. Премия учреждена администрацией и писательской организацией города Вятки (Кирова). Туда, на родину любимого писателя, и мечтал перебраться на постоянное место жительства Сергей Владимирович Толкачев: «Доживу до пенсии и...», – не раз говаривал он.

Я не однажды задавал себе вопрос, особенно по молодости, что губит меня? И пришел к самому банальному выводу: я сам себя губил и гублю. А возможно, уже и окончательно сгубил.

А что в конце концов сгубило Толкачева? Мне всегда думалось, что он – вечный. Что он всех нас переживет, похоронит. И миф, что Толкачев в последнее время сильно пил, скажем прямо, сильно преувеличен. Когда-нибудь, если даст Бог еще пожить, я, возможно, и напишу свое, подчеркиваю, свое мнение о гибели этого, без преувеличения, близкого для меня человека. Пока же скажу только, что у него, Сергея Толкачева, был большой замах, большие амбиции, а с годами переоценки себя, своих возможностей так и не произошло. Даже наоборот. Да еще сомнительные «ученики» и «ученицы», которые так ничему, кроме того, что заглядывать друг другу в рот, а тем паче – «Учителю», так и не научились.

Жизнь же проста, проста, как, скажем, топор. Но махать им надо осторожно. И умело.

...И мой, и не только мой друг Сергей, Серега Толкачев тоже, как ни странно, умер под забором. Но не как пьяница и бомж – умер от сердечного приступа. Сердце-то не топор. Хотя и топор, как показывает жизнь, со временем изъедает ржа.

Жили в Пинске и районе на моей памяти еще три литератора. Нас довольно часто судьба сводила вместе: на заседаниях литобъединения, на выступлениях (тогда они были более популярны и не такие редкие, как нынче), на скромных пирушках... Это – Олег Якушев, Василий Ковалев и Алесь Бибицкий. Так вышло, что с Алесем Ивановичем, хотя он жил в тридцати километрах от Пинска, я встречался и чаще, и более продолжительное время, чем с Якушевым и Ковалевым.

Олег Якушев, сколько я его знал, был мечтателем, романтиком, работягой. Любил приукрасить, маленько приврать, правда, в безобидных ситуациях. При этом сам излишне был доверчив. Смолоду вступил в партию, как рабочий, никакой выгоды от этого, разумеется не имел. Верил ли он в идеалы КПСС? Не знаю. Как не знаю и то, что там было у него со здоровьем. Но сердце отказало ему прямо в заводской раздевалке. Не дотянул он даже до пятидесяти, хотя с виду был крупным, рослым, крепким. К сожалению, немного он и написал.

Во времена моей юности мы довольно часто встречались, много гуляли, беседовали. Олег был старше меня на лет 12—14, но мы были с ним на «ты». Жил он как раз напротив «вечерки», где я в те годы «добивал» среднюю школу. Я неоднократно видел из окна своего класса, как он шел с работы на обед, если у меня были занятия в первую смену. А вечером наблюдал, как он выходит из своего двора по каким-либо делам. Помню, частенько ловил себя на мысли: сорваться бы, дойти прогуляться, поболтать с Якушевым...

Помню и такое: в каком-то нашем разговоре Олег обмолвился, что родился в первый день Великой Отечественной, где-то под Брестом. Я тут же посоветовал ему: напиши об этом стихи, будет здорово. Спустя дня два-три заглянул к нему и с порога: «Олег, дарю тебе начальные строки твоего биографического стихотворения: «Я родился под городом Брестом, началась большая война»... Стихотворение такое он не написал, хотя я ему об этом напоминал не однажды. Зато немногим ранее он написал неплохое стихотворение «Бронекатер». Пинчане сразу же догадаются, о каком бронекатере идет речь – он до сих пор стоит на постаменте

в городском парке. Этим стихотворением Олег и был знаменит среди пинских литераторов того времени.

Василий Иванович Ковалев. Судьба свела меня с ним еще в юности. Был он лет на 15 старше меня. Родом он был с Кировоградчины, служил в армии в Бресте. Здесь и познакомился со своей будущей женой, студенткой пединститута, уроженкой Пинщины. Так Василий Иванович Ковалев стал пинчанином. Работал, сколько тут жил, инженером в проектно-институте «Союзгипромелиоводхоз». Много мотался по Полесью. Был даже несколько лет в какой-то арабской стране. И это-то при его сердце, при постоянной одышке, не проходящей при его тучности. А человек он был талантливый, неторопливый, ни в какие лидеры никогда не лез, никаких лавров не стяжал, был прост и добр. Писал стихи, рассказы, лирические новеллы, зарисовки. Печатался в Бресте, Минске, ну и конечно, в «Полесской правде».

Умер он, как и всякие тихие люди, незаметно и, как я теперь понимаю, молодым: что-то около пятидесяти лет отроду. А вот год я запомнил, наверно, был я тогда в отлучке. Знаю только, что за несколько месяцев до этого умер его отец. Помнится, при встрече с В.И. я выражал ему свои соболезнования, сокрушался. Знать бы тогда...

Владимир Кубышкин. Тут разговор особый. Во-первых, мы с ним одно время были близкими друзьями, были соседями: жили в одном доме. Часто, может, слишком часто вместе ели, вместе пили. Вино, водку, разумеется. В последние годы нас многое развело. Открытой вражды, борони Бог, никогда не было. Но все же, все же... И тяги друг к другу той, что была на заре нашей дружбы тоже, увы, не было. Да и быть не могло. Я хлебнул Москвы, новых дружб, новых знакомств. Он – смерть любимой жены, так что...

Владимир Борисович Кубышкин по природе был человеком умным, дерзким, да и работы он никакой не боялся. Приносила бы она только результат. А вот последнего как раз то и не было. Имею в виду работу литературную. Тут никакими бессонными ночами над листом бумаги не возьмешь. Ничего не возьмешь, коли Бог талантом обделил. Что один мог сделать за каких-то полчаса-час, другой не мог осилить за годы усидчивой работы над листом бумаги.

Что ж, это не его вина. Слишком велико было желание писать, стать большим, общепризнанным поэтом. Володя не однажды мне говорил, особенно в молодости, в начале его литературного пути: «Вот увидишь, я войду в „Золотой фонд“ русской литературы. Хотя бы одним стихотворением, но войду!» Да, он действительно любил литературу, поэзию. Так еще, наверное, он любил свою жену, Галину, в девичестве Вильковскую. Он много посвящал ей стихов и был, надо признаться, однолюбом. А жена его свои стихи, которые тоже нередко печатались в «Полесской правде», так и подписывала: Галина Вильковская...

А человек он, Владимир Кубышкин, был работающий, настырный, уверенный в себе. Но, повторяю, для литератора этого мало: слепой да безрукий самолет не поведет. Тем не менее, были и у него, Владимира Кубышкина, какие-то прозрения, находки, была в конце концов завидная активность, что помогла не одному пинскому литератору найти себя, или вовсе отказаться от литературной деятельности, что немаловажно. После смерти жены Володя сильно запил.

Умер Владимир Кубышкин, как и жил последние годы, глупо и печально. Правда, в своей однокомнатной квартире, но при всем при том – при «загадочных обстоятельствах». После очередной бурной ночи его нашли соседи лежащего под газплитой, у которой была не закрыта камфорка. При этом, как констатировала судмедэкспертиза, смерть наступила не в результате удушья газом.

Было ему всего-то 48 лет. И произошло это спустя день или два после моего очередного отъезда в Москву, который накануне мы довольно горячо отметили, 19 октября 1995 года.

Так получилось, что заметки об Алесе Бибицком я не продолжил, как хотел сперва, после Якушева и Ковалева. Просто вспомнил, что Бибицкий на несколько лет пережил Кубышкина. А я пытаюсь заметки свои вести в хронологическом порядке. Разумеется, насколько мне поз-

воляет память. Так как в то время дневниковые записи я делал не систематически, вполне возможна путаница, неточности. Короче говоря, пишу по памяти. Так что, если в чем-то ошибусь, то вовсе не по злему умыслу или исходя из каких-то там целей.

Так вот, из всех мною поминаемых пинских литераторов, больше других стяжал лавры Алесь Бибицкий. Алесь Иванович, сколько я его знал, а знал я его лет тридцать, был директором школы, пусть себе и сельской. Но стояла она, как и хата его, и подворье, прямо у реки, рядом с Качановским шлюзом, в небольшой, но по-своему колоритной деревне Площево. А еще А. И. Бибицкий был неизменным депутатом сельсовета и секретарем колхозной парт-организации. Много лет руководил объединением «Орбита». Человек он был с головой, оборотистый, неленивый. Хотел, умел и любил работать. Держал собственное хозяйство, рыбачил, охотничал.

Двадцать один год назад, в 1979 году, выпустил первую книгу стихов. К сожалению, она оказалась и последней. Конечно, потом тоже были публикации: в коллективных сборниках, альманахах, журналах, газетах. Приняли в Союз писателей. Как и всякий селянин, Алесь Иванович был настоящим трудягой, семьянином. Но – рак. А он даже «речных» людей не щадит...

Из всех, кого я помянул в этом «некрополе» (а я, по-моему, никого не забыл, не запамятовал), Алесь Иванович Бибицкий ушел из жизни последним – в октябре 1998 года, прожив не такую уж малую жизнь – 67 лет. Воспитал, вырастил, вывел в люди троих детей...

Нет, был среди нас еще Николай Рогаль. Я долго думал: включать его в сей «некрополь»? И вовсе не потому, что был он, скажем, плохим там или слишком хорошим человеком. Да и врагом моим, как, впрочем, и других пинских литераторов Николай Рогаль никогда не был. Даже наоборот: был весьма и весьма дружелюбен. Что-то писал, что-то печатал. Любил и публичные выступления, так сказать, вживую, с эстрады. Но все это было до обидного беспомощно, порой даже жалко. Может, и не следовало бы об этом вспоминать, но, как говорится, из песни слова не выкинешь, и посмертная жалость тут ни к чему. Что есть – то есть. А написанное, тем более опубликованное, остается всегда в настоящем времени, остается жить. И правду кривдой тут не подменишь.

Умер Николай Рогаль год назад, прожив на этом свете ровно шестьдесят. Тридцать из них мы были знакомы. Вся его жизнь протекала в родном Ласицке да в многочисленных паломничествах по санаториям, курортам, разного рода больницам, лечебницам: Николай был инвалидом, передвигался при помощи костылей. Но в молодости он был по-голливудски красив лицом. Да еще черные, вьющиеся волосы, карие глаза, ровные, белые зубы... Даже будучи инвалидом, он имел успех у женщин. Да и нравом по молодости лет он был, несмотря ни на что, веселым, был натурой бесшабашной, поэтической. С годами, конечно, все поменялось, дальше – больше донимали болезни, инвалидность. Тем не менее, до конца своих дней Николай Рогаль писал стихи, заметки в газеты, и все так же, как в молодые годы, жаждал публикаций, известности. Дело понятное и для любого из пишущих простительное.

Пусть простят меня и все, кого я помянул в этих «мемуарах»: я тоже далеко не святой, с кем-то из них не раз спорил, что-то доказывал, критиковал, порой, наверно, был несправедлив...

Мир вашему праху, да упокоит вас Господь!

2000

## Похороны «балаховца» деда Рыгора

Это воспоминание – одно из самых ярких воспоминаний детства. Похороны родного брата деда по отцовской линии. В деревне их звали «балаховцами» – все они, четверо братьев, были высокими, статными, крепкими, красивыми. Отсюда, видимо, и прозвище. А может... Я сам и не однажды слышал в разговорах деревенских стариков о конниках генерала Булака-Балаховича. Вспоминались они всегда, как легенда – так вспоминают самое дорогое – молодость, первую любовь. Наверное, так на чужбине вспоминают родину, когда ясно понимают, что к ней уже вовеки не вернуться...

Правда, мой дед Феодосий ростом был поменьше остальных братьев и не такого богатырского сложения. Но зато он смолоду играл на гармошке. Мало того – распевал песни собственного сочинения. Короче говоря, деды были – на все село. Да что там, на всю округу! Степенные, спокойные, уверенные в себе, величественные. На деревне все знали, какие они, братья «балаховцы», дружные, работающие.

Как я любил наблюдать за ними!.. Вместе их я видел раза два, ну, три, от силы – четыре. А по отдельности довольно часто. Да и дед Феодосий умер, не дожив до ста лет четыре года. Мне самому было уже за тридцать. Умер последним из братьев, хотя всех их можно было считать сверстниками – в мир этот они пришли один за другим: Иван, Тодось, Рыгор, Хведор. Были и сестры, но знать я их не мог и даже не видел: одна «за польским часом» уехала в Америку, да там и осталась, а другая умерла, тогда же, при Польше, как всегда говорили у нас. Бывало, идешь следом, а то и рядом с кем-нибудь из дедов, и так на душе хорошо, покойно. И непонятно, откуда сила во всем теле, и гордость, романтическая гордость, какая и бывает только у мальчишек...

Похороны. На телеге, усланной белым рядном, большой гроб из свежеструганных досок, за гробом – процессия. Как всегда в деревне, внушительная – хоронили селяне своих стариков (да и не только стариков) всей деревней, кто бы ни был. Съезжались и сходились все (без исключения) родственники, даже если и был кто-то в ссоре. Притом, и дальние. Впереди процессии, метров за десять – пятнадцать, идет дядька Максим, родной брат отца. На плече – массивный дубовый крест.

...Не переставая льет дождь, переходящий в мокрый, липкий снег. Сырой, холодный ветер. А надо быть с обнаженной головой. Батюшка отпевал деда Рыгора по полному чину, и похороны растянулись на добрых два часа. Чувствую, как простуда насквозь пронзила меня. Спина взмокла так, что майка неприятно липнет к телу. Такое же мокрое – от дождя и снега – лицо; и руки, мокрые, коченеющие, я ими попеременно вытираю лицо. Оно тоже неприятно чешется, зудит. Не плачу. И почти никто не плачет. Разве что мои тетки, дочери деда Рыгора. Когда стали прощаться и заколачивать крышку гроба, они и вовсе запричитали, заголосили. Наконец поставили крест, закидали землей. Подровняли могильный холмик. Помню, я долго, неотрывно, даже забыл о простуде, смотрел на крест. «Из дуба» – то и дело говорили мужики. Мне он казался живым. Огромный, крепкий, каким был дед Рыгор. А еще запомнились слова отца, сказанные дядьке Петру, моему крестному, когда шли обратно в деревню, поминать. Если бы не те слова, вряд ли бы я так отчетливо запомнил похороны «балаховца» деда Рыгора. «Эх, и не любив нэбога гэтый дэнь»...\*

А день был – 7 ноября 1964 года.

– «Эх, и не любил покойный этот день»...

1998

## Однофамилец

В первопрестольной заблистал драматург, режиссер и актер Евгений Гришковец. Сам он из Калининграда, а родился и вырос в Кемерове и, разумеется, к пинским Гришковцам никакого отношения не имеет. Понятное дело, и в Калининграде, и в Кемерове могут быть мои пинские однофамильцы. Я доподлинно знаю, что есть они и в Польше и даже... в далекой Бразилии. Утверждаю последнее, ибо заокеанские Гришковцы – мои дальние родственники. Но тут совсем иное, и речь именно об этом. Так что вернемся к московско-калининградско-кемеровскому Гришковцу. Кстати, я обсолютно ничего против него не имею, более того, мне даже мило, что у меня такой однофамилец. Помню, в 1977 году чемпионом Советского Союза по боксу в среднем весе стал мой тезка из далекого Фрунзе Валерий Гришковец. Я искренне радовался за него и долго еще «болел». Правда, больше ничего существенного он не показал. Но вот же до сих пор не забылся мною, хотя мы с ним так и не увиделись. Да он вряд ли что-нибудь обо мне и слыхивал...

Первым, а точнее – первой, кто мне сказал о существовании моего московского «родственника», была моя столичная приятельница. Она ехала в троллейбусе, а сосед читал газету, и в ней шла большая статья о постановке пьесы Евгения Гришковца, к слову, им же поставленной и сыгранной. Так вот в статье в подзаголовке крупным шрифтом было набрано имя моего славного однофамильца. Я тогда еще пошутил, мол, это никто иной, как имярек.

Да, прежде, чем перейти к главному, из-за чего вообще все это пишется, необходимо сказать, что Евгений Гришковец весьма незаурядная личность: в Москве он не так давно, поскольку человек он молодой и всюду представлен как калининградец. Молодой-то молодой, но его постановки и игра имеют ошеломительный успех. В минувшем году Евгений Гришковец, как драматург, стал лауреатом весьма шумной и престижной (читай: денежной) премии «Антибукер», как исполнитель и режиссер – еще более громкой в театральном мире премии «Золотая маска». И это не идинственные его премии и награды.

Короче говоря, успех и слава свалилась на него, как это часто бывает, в одночасье. Москва таких – ой, как любит! Сегодня Евгений Гришковец направо и налево раздает интервью, он, судя по прессе, произвел революцию в театре.

Живя в Москве, газеты читаю от случая к случаю, а телевизор смотрю вообще крайне редко. И после разговора с приятельницей о своем однофамильце, покоровившем театральный мир, вскоре напрочь забыл.

Но мне напомнили.

В одной столичной богемной пивнухе меня выцепил сильно поддатый Альберт Н. В союзе писателей Альберт Н. числится по разряду поэтов. Он-то мне и напомнил.

– Слушай, Валера, а ты случаем не Гершкович? – подкатился на некрепких ногах к моему столику стихотворец Альберт Н.

– Алик, ты в своем репертуаре – продолжай.

Старик, тут дело серьезное, – пучит на меня глаза, налитые хмелем не одного дня пьянства стихотворец Альберт Н., большой радетель за чистоту славянской крови, хотя сам женат то ли на армянке, то ли на турчанке, то ли... Она, как и Альберт Н. активно занимается стихотворчеством. Правда, пишет по-русски. Я встречал их, и не однажды, они часто напару своим визитом «осчастливливают» эту полубогемную пивнуху. – В наших краях объявился твой б'гат (здесь он сгримасничал) Евгений.

– Конкретней, Алик, конкретней, – говорю я, а сам уже догадываюсь, о чем и ком пойдет речь.

– Да вот намедни включаю «ящик», там твой б'гат Евгений отваливает интервью своей картавой соплеменнице. И знаешь, твой б'гат, как две капли воды, мой сосед Сегежа, как он сам себя величает, Бутман. Тоже мне «Сере-жа»... Сережа – Есенин! А тут какой-то Бу-тман!..

Я невольно рассмеялся, представив, как на лестничной площадке встречаются пьяный стихотворец Альберт Н. и некий Сережа Бутман.

– Алик, в моем родном Пинском районе есть деревня Ласицк. Добрая половина этой деревни рождается и умирает с фамилией Шендер.

– Арамейцы! – Пьяно махнул рукой стихотворец Альберт Н. Я давно уже знал: «арамейцами» Альберт Н. называет евреев.

– А еще, Алик, есть у нас деревня Молодельчицы, в ней тихо и мирно проживают белорусы, коим от рождения носить фамилию Зельман. И вообще, в мой Пинск съехались люди со всего Западного Полесья – бежали от «счастливой колхозной жизни». Привезли они с собой, разумеется, и свои фамилии: Мендель, Дырман, Бесман, Шуман, Шлома, Фицнер, Габер, Кондер, Шкиль, Шкут, Гмир, Квир... А есть и Глинские, никакого отношения к княжескому роду царицы Елены Глинской\* не имеющие.

– Какие вы белорусы?! – Вылупил пьяные глаза стихотворец Альберт Н. – Жиды! Все жиды! И ты – жид!..

– Алик, – не выдержал я, – и у тебя имя-то не совсем великоросское.

– Что-о?! Да мой дед по батюшке белогвардейский полковник, полный Георгиевский кавалер!!

– В таком случае, Алик, мой дедушка – персидский шах. А ты – полный дурак!

Я встал из-за стола и, от греха подальше, ушел из буфета.

Дуроватую натуру московского стихотворца Альберта Н. я понял сразу же, впервые увидев его в этой самой пивнухе лет пять назад. Неоднажды его, еще довольно красивые по-трезвяку синие глаза оттеняли лилово-фиолетовые фингалы. Да и будучи трезвым, правда, таким я видал его не часто, стихотворец Альберт Н., как и большинство москвичей, льстиво-обходительный, вежливый...

Все случившееся в тот вечер можно списать на пьянку, свести к шутке, но... Тут не просто драма, тут самая настоящая пропасть, и в ней так просто пропбсть. И дело вовсе не во мне. А может, как раз и во мне. Ведь не стал же я защищать своего «брата» Евгения, а хлопнул дверью и ушел, сконфуженный и злой, по дороге думая не столько о случившемся только что со мной, сколько о том, как хорошо, что мои предки не из Ласицка, и тем паче – не из Молодельчиц...

\*Вторая жена Василия III

2000

## Сохраним память

Переделкино. Лето 1998 года. Дачный поселок писателей. Приехал к приятелю, отдыхающему здесь в Доме творчества, идем в магазин купить водки и что-нибудь закусить. На главной магистрали поселка писателей, улице Серафимовича, тихо, пустынно. Улица довольно широкая, положен асфальт, так что просторно и удобно идти. По обе стороны – высокие, под самое небо, отливающие вековой синью могучие ели; внизу заборы, крашенные, как правило, в такой же успокаивающий иссиня-зеленый цвет. Словом, дачная идиллия.

На заборе, то тут, то там – что-то вроде листовок. Подходим, читаем. Так и есть – воззвание к дачникам, к отдыхающим туристам, экскурсантам. Приезжают сюда на экскурсию, как правило, в Дом-музей Бориса Пастернака. Музей хорошо разрекламирован, широко известен. И туристы, в том числе и иностранные, в писательском поселке не редкость, и идут они в первую очередь в Дом-музей Пастернака. Хотя сам писательский поселок, без преувеличения, музей под открытым небом...

Хорошо помню, как в конце восьмидесятых – самом начале девяностых бились за дом Пастернака писатели-демократы. И отстояли, спасибо им. Не было бы у нас Дома-музея Пастернака, а был бы обычный дачный дом. В нем, в лучшем случае, жила бы писательская семья (или несколько семей), а так, повторяю, общественность имеет возможность прикоснуться к святой святых – тайнам творчества «великого русского поэта, лауреата (правда, Борис Леонидович, как известно, отказался от нее по велению сверху) Нобелевской премии Бориса Пастернака».

Очередное воззвание о том же: «Отстоим дом Булата» – огромный заголовок черными буквами по снежно-белому листу бумаги. Текст возвания – в лучших традициях российской критики последних лет: «Великий поэт», «Совесть нации», «Наша эпоха», «Наша любовь»...

– Слушай, – спрашиваю у приятеля, известного московского поэта, прозаика и переводчика (все это, разумеется, в прошлом, так как в настоящее время талантливый литератор занят, прямо скажем, побочной околολитературной работой, приносящей хоть какие-то деньги; иной работы сегодня у московских писателей практически нет), – сколько в Переделкино домов-музеев?

– Два, Пастернака и Чуковского.

– Странно... Столько выдающихся писателей, поэтов здесь жили, и всего – два дома-музея...

– По-моему, все правильно. К чему все эти музеи? Лучший памятник писателю – книга. Вспомни Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Все прочее – от лукавого.

И все-таки, тут жили и Фадеев, и Катаев и Симонов... да что там, весь цвет советской литературы! Это же история.

– Кстати, в этом доме, – мой приятель указал в глубь темного из-за частых, огромных деревьев двора, – жил Александр Чаковский. Теперь это – собственность Владимира Познера. А вон в том доме, – мой приятель кивнул головой в противоположную сторону и немного вперед, – жил как раз Симонов.

– А теперь?

– А теперь... а теперь здесь никто не живет. Так, купили и...

Тут из калитки впереди нас высыпала шумная толпа и повернула в нашу сторону. Впереди, я узнал его сразу, – Михаил Козаков. Он приветливо и с достоинством поздоровался с нами, на ходу приобнял за плечи моего приятеля и так же шумно удалился, сопровождаемый тремя почтенными дамами.

– А в том доме жил Владимир Солоухин.

– И что?

– А теперь Владимир Вигилянский живет.

– Кто это?

– Священник.

– Священник, в писательском доме?

– Ты что, не знаешь Вигилянского? – посмотрел на меня приятель. – Он известный критик. Правда, в прошлом. Лет семь – десять назад ни один номер «Огонька» без него не обошелся. Неплохо писал. И много.

– Но все-таки Владимир Солоухин, – как бы оправдывал свое невежество я, – согласишься, величина в русской литературе не меньше того же Окуджавы...

– Оставь. Кому теперь нужен Солоухин? – оборвал меня приятель. – За Вигилянского сам патриарх перед Литфондом хлопотал. Кстати, я с Владимиром Вигилянским вместе в Литературном институте учился. Парень был – хоть куда?

– И в батюшки подался?

– В университетском храме МГУ подвизается. Православную молодежь окормляет.

– А знаешь ты, что Владимира Солоухина, – не унимался я, – патриарх отпевал? Солоухин – первый русский писатель, кого отпел патриарх Алексий II. И вообще, первый человек, кого отпевали в храме Христа Спасителя.

– Ничего удивительного. Идея возрождения храма Христа Спасителя в Москве принадлежит Владимиру Солоухину. С этой идеей он лет двадцать, как я знаю, носился...

Но вот уже и магазин. Заходим. Ничего особенного. Обычный сельский магазин, так и хочется сказать «лавка». Правда, выбор продуктов довольно приличный: колбаса, консервы, водка, вино...

...А «дом Булата», как спустя месяц я узнал из программы «Время», отстояли. В писательском поселке еще одним музеем стало больше.

1998

## Выручает белорусская картошка

Встреча эта была совершенно случайной, неожиданной, и, конечно же, она никоим образом уже не могла повлиять на мою дальнейшую жизнь. Тем более на жизнь человека, с которым в тот вечер мы встретились. А увидеть его, да еще поговорить с ним, в далекой уже молодости было тайной и, увы, несбывшейся моей мечтой. Особенно, когда я бывал в Ленинграде у своей первой жены, которая так ревностно следила за моим творчеством и, можно сказать, жаждала моей поэтической карьеры. По крайней мере, пока мы жили вместе. Встреча же моя с этим человеком оказалась, как я уже сказал, случайной, неожиданной, не принесла она нам и какой-то особенной радости. Тем не менее, встреча та для нас обоих оказалась в определенной степени приятной, а для меня и желанной – все-таки увидел и хоть вкратце поговорил с хорошим человеком и, безусловно, большим поэтом современности.

Его мы увидели сразу, как только вошли в правление Союза писателей России. Невысокий, но заметно выше среднего роста, довольно крепкого телосложения, на густой, уже поседевшей шевелюре – кепка, такая же большая, как и голова. Голова древнеримского патриция! Да и сам он похож на древнеримского патриция. По крайней мере, если вспомнить рисунок из учебника «Истории Древнего Рима» – той, что проходил когда-то в школе. Да, несмотря на седьмой десяток и, скажем так, бурную молодость, Глеб Горбовский все такой же красивый, как на фотографиях тех лет, когда был пусть и не кумиром, но большим авторитетом для многих, в том числе и для меня.

Мы прошли холл, где он стоял в одиночестве, и свернули в коридор, ведущий к кассе. Мой товарищ по ВЛК, нижегородский прозаик Евгений Шишкин, намеревался получить стипендию правительства России. Таковую по сей день получают российские писатели. Не все, конечно. Отбор довольно строгий, зачастую несправедливый и, честно говоря, вызывающий много кривотолков, нареканий и обид.

– По-моему, Глеб Горбовский, – сказал мне Евгений Шишкин и кивнул головой назад, в сторону одинокого человека, стоявшего в холле.

Касса оказалась закрытой, и некоторое время нам пришлось ждать.

– Похож, – ответил я и тут же предложил: – Давай подойдем.

– А если не он? И что ему здесь, в Москве, быть?..

И мы молча стали ждать открытия кассы. Потом я вернулся в холл – еще раз посмотреть на стоявшего там человека, так похожего на поэта Глеба Горбовского.

В Москве я жил второй год. Многого насмотрелся, многих видел, с кем-то был уже даже знаком. Но Глеб Горбовский и на фоне многих оставался поэтом. Притом из тех, кого с восторгом принял и когда-то чуть не боготворил.

Евгений Шишкин, пока я ходил в холл, успел заглянуть в бухгалтерию и вернуться обратно, к окошечку кассы, в дальний угол совсем узкого коридорчика, отворачивающего в сторону от основного широкого коридора.

– Там, – он показал рукой на двери бухгалтерии. – З. пьет кофей с мадамами. И кассир там. Так что подождем, недолго. Главное – деньги есть. Получим стипендию.

Прозаик З., тоже слушатель ВЛК, совершенно бездарный и амбициозный северянин, был вхож в любые двери. Как все графоманы, он любил похвастаться своим знакомством с писательским начальством, а особенно – успехом у дам, что в немалом количестве обслуживали Союз писателей и Литературный институт.

Тем временем к нам подошел человек, в котором мы подозревали Глеба Горбовского. Вскоре окошечко кассы открылось, и Евгений Шишкин предложил ему:

– Вы пришли раньше нас, пожалуйста. – Женя, всегда умеющий хорошо держаться, приветливо улыбнулся и отступил от окошечка кассы.

Я стипендию не получал и, чтобы не толкаться в узком коридоре, куда тут же подошли еще несколько человек, отправился в холл.

Евгений Шишкин вышел сразу же за тем, кому уступил место у кассы и кто только что прошел мимо меня на выход.

– Да, это Глеб Горбовский, – сказал мне Женя. – Я пропустил его вперед, и взгляну на фамилию в ведомости.

– Давай догоним! – предложил я и пустился по Комсомольскому проспекту, где впереди еще маячила чуть сутуловатая спина Глеба Горбовского. Как раз передо мной он завернул в магазин.

– Глеб Яковлевич!

Он резко обернулся, не ожидая, что здесь его могут окликнуть, и с любопытством посмотрел на меня. Тут подошел и Женя Шишкин. Глеб Горбовский, конечно же, сразу признал в нас сотоварищей. Это было видно по всему. Ему, безусловно, сразу же понравилось и то, что к нему, наконец, здесь, в Москве, подошли, обратились. Он, наверное, какое-то время прождал и в Союзе писателей, где, увы, никто даже не пригласил его в кабинет.

– Мы с Высших литературных курсов, – сказал я.

Глеб Горбовский подал руку. Сперва мне, потом Евгению Шишкину.

– Очень приятно. А я вот приехал, подавание (так и сказал) получил.

– Читаю вас с юности, – я тут же решил сменить тему. Тогда, а было это в декабре 1994 года, все русские писатели последними словами крыли и Москву, и московские власти. – Рад видеть вас в добром здравии (по Москве ходили слухи о жутких запоях Глеба Горбовского). Знаете, недавно на семинаре Юрий Кузнецов приводил ваши стихи как образец русской лирики.

– Интересно. На Юру не похоже. Передай ему поклон от меня. И помолчав, спросил:

– Вы не из Питера?

– Нет, я белорус. А это – Евгений Шишкин, прозаик из Нижнего Новгорода.

– У меня дом в Белоруссии.

– Где именно?

– В Витебской области. Я совсем недавно оттуда. В Питере голодно, тоскливо. Вот и стараюсь больше бывать в Белоруссии, в своей деревне. Дешеви-изна!.. А картошки... Меня и в Питере белорусская картошка выручает. Пропал бы...

Поговорили еще о чем-то. Но светло, с улыбкой, без обычной злобы, что не покидала русских писателей в те страшные годы. И сегодня, читая новые стихи Глеба Горбовского, довольно мрачную, пессимистическую его лирику, ловлю себя на мысли: есть ли кто-нибудь, чтобы в роковую минуту не оставить поэта в одиночестве, хоть словом поддержать его в горькую часину? А жизнь у Глеба Горбовского, судя по стихам последних лет, далеко не отрадная...

1998

## Вопрос Президенту

Литературный институт имени Горького, знаменитый на всю Москву «Дом Герцена» на Тверском бульваре. Еще недавно – один из самых престижных вузов самой большой и, как обязательно подчеркивалось, самой читающей страны. Чисто убранный двор, свежепобеленные деревья. Погожий весенний день. Необычное оживление. Во дворе много милиции, то там то здесь – молодые люди в штатском. Явно не студенты-литераторы, теперь уже довольно убогого и чуть ли не для убогих все еще существующего этого странного для сегодняшнего мира учебного заведения. Полно и студентов. Сегодня и они, и это бросается в глаза сразу, оживлены более, чем обычно. Много здесь и писателей. Так много их здесь в одночасье, пожалуй, давно не собиралось.

Вот появились на крыльце, их сразу обступили, ректор Литературного института, известный прозаик, профессор Сергей Есин, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев, всем знакомый, не стареющий «дядя Степа» Сергей Михалков, тут же с золотой звездой Героя Соцтруда писатель Юрий Бондарев, выделяется (даже в этой группе) повышенным достоинством и активностью, руководитель созданного им же творческого объединения «Современный писатель», прозаик Арсений Ларионов.

Все как-то сразу притихли, и на совсем небольшом, уютном дворе Литинститута как бы само собой образовалось что-то вроде солдатского караула на казарменном плацу. Правда, вместо однообразно бритых и одетых голов – здесь много бородатых, и лица все сплошь интеллектуальные, с высоким полетом мысли.

И тут, словно догоняя писательские фантазии, во двор Литературного института вихрем влетел кортеж президентских машин. Не успела первая машина остановиться, как запахнулась дверца и на асфальт, по которому с утра до вечера шляются вольнодумцы чуть ли не со всего света, ступил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. «Дом Герцена» и его двор, конечно, много чего повидали на своем веку, но такого – даже здесь! – давно не было. Двор ликовал. К ногам Президента летели цветы. Студенты Литературного института, его профессора и преподаватели, московские писатели и общественность российской столицы встречали своего кумира – лауреата Международной премии имени М. А. Шолохова за 1997 год «За мужественную политическую публицистику и защиту народных идеалов» Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Премия эта учреждена не так давно. Но уже среди ее лауреатов – известные писатели России Петр Проскурин, Юрий Бондарев, Тимур Пулатов, Егор Исаев... А также крупные политические и общественные деятели, лидер боснийских сербов поэт Радован Караджич, кубинский вождь Фидель Кастро, русский Геннадий Зюганов. И вот – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко...

Думаю, здесь будет к месту заметить и то, что сегодня в среде русских писателей Москвы, от самых молодых и до самых именитых, нет человека более популярного, любимого и уважаемого, нежели Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Сколько раз, зная, что я белорус, известные люди останавливали меня прямо посреди улицы, в метро, в клубе писателей и осыпали комплиментами, словно и я, грешный, имею к Президенту РБ и его деятельности самое что ни на есть прямое отношение. А уж среди небожителей политического олимпа Александр Григорьевич Лукашенко для русских писателей, без преувеличения, самый-самый. А тут еще такое в Москве: то режут-стреляют, то взрывают-поджигают, то кроют-перекраивают, то делят-переделивают... Русские же писатели, не приведи Господи, чуть ли не по миру с протянутой рукой...

Все прошло настолько хорошо организовано, что я, неплохо знающий Литинститут и связанную с ним и около него суматоху, колготню и всякого рода несусветицу, был про-

сто-напросто удивлен. Премию Президенту А. Г. Лукашенко вручили председатель комиссии по присуждению Международной премии имени М. А. Шолохова писатель Юрий Бондарев и писатель Арсений Ларионов. Было много поздравлений, цветов, улыбок, был, в конце концов, светлый весенний день, что в Москве не так часто и бывает. Словом, был праздник. Самый настоящий праздник, которые в последние годы не так часто выпадают Литературному институту.

И все бы ничего, таким бы и остался этот день в памяти, по крайней мере для меня, если бы не один вопрос, обращенный к А. Г. Лукашенко. Причем вопрос этот Президенту Республики Беларусь был задан самым первым. Как только Александр Григорьевич обратился к залу, как бы для диалога, с места встал член Союза белорусских писателей Н. В Москву он, минчанин, и приехал, конечно же, только потому, чтобы задать этот вопрос.

Мы с ним знакомы давно. Бывало, и чай пили. Но дружбы у нас не вышло. Да он и не искал дружбы со мной. Скорее всего потому, что КТО я такой в Москве... Он, как я знаю, бывая (и по долгу) в Первопрестольной, все жался поближе к руководителям Союза писателей России, главным редакторам «толстых» журналов, крупным писателям, поэтам... Я как-то даже намекнул ему, брось, мол, подобное тут давно не пролазит и вызывает разве что смех, унижение и дурную славу. Не помогло. Он обиделся и вскоре совсем отстранился от меня. И слава Богу...

В тот день во дворе Литературного института он появился раньше многих. Как он, минчанин, узнал о том, что сегодня в Москве Президенту Лукашенко будет вручаться Международная премия имени М. А. Шолохова, думаю, не столь важно. О таких, как член Союза писателей Н., говорят, «в любую щель пролезет». Вот и в тот день во дворе Литинститута он появился задолго до начала самих торжеств. Ходил одиноко в сторонке, как некий мыслитель, видимо, обдумывал, каким образом подойти (не шутка-то – Президент страны!), пробиться, показать себя Самому, заявить о себе...

И заявил: «Александр Григорьевич, вот вы в Минске васькаетесь (вопрос члена Союза писателей Н. я передаю, разумеется, в собственном изложении, но за подлинный смысл его ручаюсь на все сто процентов) с белорусскими (так и сказал) письменниками, они же не только вас не поддерживают, а наоборот, чуть ли не смеются над вами и жаждут одного – как бы дискредитировать вас. Я же, член Союза писателей Н., всегда, везде и во всем был, есть и буду вашим верным оруженосцем и трубадуром. Почему же вы, Александр Григорьевич, к ним, вашим врагам, относитесь хорошо, квартиры им даете, должности и чины, а ко мне...»

Президент Республики Беларусь, лауреат Международной премии имени М. А. Шолохова Александр Лукашенко, как я понял, уже знал члена Союза писателей Н., поскольку, чуть ли не перебив его, обратился по имени и довольно по-свойски, как к давнему знакомому.

Комментировать дальнейшее, по-моему, нет никакого смысла, как и вообще вести речь о болезненно тщеславном и амбициозном земляке. Я давно уже предполагал, что от члена Союза писателей Н. можно ожидать чего угодно. Вот стоящих произведений – вряд ли...

## Есть повод порадоваться

Белорусская литература, и этому надо только радоваться, еще совсем молодая. И сегодня она болеет всеми болезнями роста, свойственными молодому организму. А именно: всякими течениями, «суполками», что радикально взаимоисключают друг друга. И при этом – только помани пальцем – бегут под крышу официального издания, не говоря уж о членстве в Союзе писателей.

Но главное даже не в этом, а в том, что, слава Богу, белорусскую литературу обошло, и, хочется думать, подобного с ней не случится вовсе. Русская литература вслед за литературами Запада, которые «болезнями роста» переболели значительно раньше, еще в прошлые столетия, бросилась в чернуху и порнуху. Разумеется, не сама литература, а пишущая братия, кормившаяся от литературы. Сама же литература, как и писатели, оказалась в России резко отодвинутой на обочину общественной жизни. Совсем и, наверное, окончательно опустел, утратил свое былое значение ЦДЛ. А ведь еще совсем недавно литература, да и сами писатели в культурной (и не только) жизни России играли главенствующую роль. Не зря же так рвались в Союз писателей, и по сию пору в нем ошивается столько всякого рода пройдох, авантюристов и самых обыкновенных карьеристов, что оторопь берет. Правда, помыслы и цели их далеки от собственно литературы и культуры вообще.

Конечно, все это есть и в белорусском Союзе, но речь о другом. А именно: белорусская литература живет, растет, прогрессирует. Русской, как, впрочем, и западной литературе расти, как это ни обидно и ни горько ее сегодняшним лидерам, некуда. Попробуй, возьми высоту Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Бунина, Блока, Есенина, Шолохова, Твардовского... Список можно расширять и расширять!

Ничего не стоят и все эти сегодняшние выдвигенцы на Букера. Так, агония. После «деревенской» прозы и представителей «тихой лирики» – ничего существенного. Разве что в поэзии Юрий Кузнецов (но и его Кожинотвнес к «тихой лирике») да в прозе Битов и Искандер. Все последующее – суэта да возня, соцреализм наизнанку: Петрушевская, Пелевин, Кибиров...

Правда, у русских есть еще литература эмигрантов: Солженицын, Синявский, Максимов, Бродский...

А в Белоруссии... Чего стоят одни только «закидоны» Анатоля Сыса – в Москве о нем, нет-нет да услышишь! А эстетствующий хуторянин Дранько-Мойсюк, этот местечковый денди!.. В Москве такого со времен НЭПа не видали. И поэты стбящие есть: Некляев, Голубович, Купреев. При желании – читай в обратном порядке; да как хочешь, так и читай! Но сегодня они – «Три богатыря» белорусской поэзии. А Казимир Камейша?.. Все так же сильны и неожиданны Анатолий Вергинский, Василь Макаревич, Василь Зуенок, Сергей Законников, Юрка Голуб, Алесь Каско, Алесь Письменков...

А какая проза... Без преувеличения – беловежская пуца имен! Янка Брыль, Василь Быков, Вячеслав Адамчик, Иван Пташников, Анатолий Кудравец, Виктор Гордей, Генрих Далидович, Алесь Жук, Алесь Кожедуб, Владимир Яговдик, Алесь Наварич, Андрей Федоренко, Анатолий Козлов...

Трудно найти слова, чтобы коротко и вместе с тем емко сказать о белорусских поэтессах. Самое удивительное, что все они красивы как женщины. И все пишут прозу. Да какую прозу! Ядреную, сочную, колоритную... Совсем как белорусские девчата на «кирмашы» по случаю престольного праздника в доколхозной Белоруссии – хоть на католическом западе, хоть на православном востоке.

Словом, не захвалить бы, и – дай Бог!

1998

## Памятный тост

Было это году в 84-м еще в старом, что в Королищевичах, Доме творчества. Поэт Владимир П., человек в общем то порядочный, мудрый, иной раз даже любящий правду-матку резануть в глаза, на банкете, устроенном им по случаю выхода своей книги стихотворений в Москве, один из первых тостов поднял «За Петра Агеевича Кошеля, белоруса, прекрасного русского поэта и большого друга белорусской литературы».

Все это может и забылось бы будь Петр Кошель всего-навсего сотрудником редакции поэзии народов СССР в тогдашнем издательстве «Советский писатель». Дело житейское, редактировал книгу, готовил к изданию... Словом, было это в писательской традиции: отблагодарить редактора своей книги, но тут конечно, другое. Да и запомнилось потому, что белорусские писатели (и прозаики в том числе) уж больно много бегали вокруг да около Петра Кошеля. И разгадка того, скажем так, повышенного внимания к персоне П. Кошеля в Минске скрывалась в ином: был он зятем Н. Н. Слюнькова, тогда первого секретаря ЦК КПБ. Что и подтвердилось уже на следующее утро.

Гуляя по дивному королищевичскому лесу (и похмелье не мучило!) тогда еще никому не известный Владислав Артемов (он вместе с Кошелем приехал из Москвы), к слову, уроженец Минщины, как бы шутя обронил: «Ну, Петя, если твой тесть пробудет первым в Белоруссии лет пяток, тебе в Королищевичах (имелся в виду Дом творчества) бюст поставят. И белорусские писатели каждое утро к нему цветы возлагать будут».

Посмеялись. Правда, не весело. Будто понимая: смеемся над самими собой.

1998

## Вот пришел Анахорет Купреев...

Было ли это – молодой май в бело-голубой кипени цветущих деревьев, отцовский дом, с раскрытыми настежь окнами, в саду стол, мать ставит тарелки с борщом, мясом, прочими закусками. У мамы, еще такой нестарой, несмотря на бесконечные хлопоты, приподнятое настроение, она светло – как умеет только мама – улыбается. Весна! А еще – гость, главный виновник хлопот и веселья, белорусский поэт Микола Купреев. Живая легенда, бич литначальства и всякого рода мелких чиновников Белоруссии, Микола Купреев и в самом деле был для них БИЧ – бывший интеллигентный человек. Девять лет назад, в 1967 году у него вышла первая книга поэзии «Непазбежнасць» («Неизбежность»).

Об этой книге много писали в белорусской периодике. И даже сама московская «Правда» в обзоре белорусской литературы отметила выход этой скромной по объему книжки. Было признание. И все было готово к приему Купреева в Союз писателей, что давало большие привелегии пишущему. Но Микола, душа нараспашку, в какой-то подгулявшей компании нелестно отозвался об известном критике. Мало того, сорвал с него шапку да шмякнул, смеясь, оземь. А шапка-то была начальственная...

И пошло-поехало! Не приняли в Союз писателей, под горячую руку уволили из столичного издательства, не дали обещанную квартиру. И остался без работы, без крыши над головой. И поехал на попутках да в пригородных поездах «зайцем» бездомный поэт Купреев в свое растянувшееся на десятилетие странствие по милой Брестчине. Благо, в каждом райцентре жил кто-нибудь из пишущей братии и, конечно же, привечал его. Так в мае 1976-го заглянул ко мне в «Полесскую правду», где я был литсотрудником, усталый, не первой свежести, но довольно-таки бодрый Микола Купреев.

С той поры мой небогатый дом стал недолгим, но частым приютом на бродяжем пути поэта. Шли годы. Все реже и реже имя Купреева появлялось в белорусских изданиях. Но слава Поэта не покидала его. Навещал Микола и соседнюю Украину, где стихи его переводили, а талант ценили. Особенно на Волини. Там он также находил неизменный приют и братскую поддержку.

До гроба не забыть мне и то, как спустя полтора года после нашей встречи, завалился в типографию (и как его только пропустили на проходной?), а я был дежурным по выпуску, сильно помятый и потрепанный с дороги и перепоя Микола Купреев. Вместе с ним, что редко случалось, – в этот раз был спутник, такого же вида недавний сельский учитель из поселка Телеханы Семен Н., изгнанный из школы за провальное пьянство. Микола величал его исключительно Симеоном.

Познакомились. И Микола тут же поведал мне недавнее приключение своего напарника. Сильно подзаложив за воротник, Симеон взял заступ и двинул на поселковое кладбище. Выкопал могилу, пусть и не в полную глубину, глубоко всадил в свежесброшенную землю лопату и... завалился в яму отпочивать от тягот бременной земной жизни. Видно не на шутку допекла сельского просветителя пьяная житуха, ибо лежал он в свежей могиле-постели, на манер покойника кротко сложив на груди руки. Правда, при этом так храпел, что люди в подошедшей похоронной процессии перестали плакать и недоуменно озирались – уж ненароком не закопали ли кого живого?..

Не поняли селяне мятущуюся душу Симеона, несшего в темные головы их чадам свет науки – все как есть доложили куда следует. Этот трагикомический номер сельского учителя Семена Н. стал той последней каплей, что переполнила чашу терпения директора телеханской школы. И недавний учитель математики Семен Н. стал на какое-то время спутником также недавнего сельского учителя – филолога и поэта Миколы Купреева.

Я как раз заканчивал читку очередного номера газеты.

– Валерый, прабач, я як заўседы, спіты, нябрыты... Дай траяк!..

Денег у меня не было. Пришлось просить в долг у редакционной машинистки. Она, на наше счастье, была в типографии – принесла набор будущего номера газеты и зашла в корректорскую з гранками сегодняшнего выпуска.

Взяли два вина и погребли в «Поплавок», что плавал неподалеку от типографии, на набережной Пины. Выпили. Чуть ожили. Мало.

Посидели. Помозговали. «Мозговать» выпало мне, поскольку в Пинске из нас троих добыть денег на «добавку» мог только я, человек при деле.

В тот год я поступил в Белгосуниверситет на заочное отделение журфака. Вместе со мной поступил на учебу и военный журналист из флотской многотиражки (в те годы издавалась такая в Пинске) Иван О. Хохол, сколь хитрый в жизни, столь примитивный в стихах. Кроме всего прочего, был Ваня еще и виршеплетом, а литературные страницы в «П. п.» готовил тогда имярек. Ну а кто из виршеплетов по молодости лет не тщеславен?..

Вот и двинули мы через город в Западный микрорайон к мичману Ивану О. Ване я предварительно сообщил по телефону, мол, так и так, у меня – гость, известный белорусский поэт Микола Купреев. Он прочитал в «П. п.» твои стихи, очень понравилось, хочет с тобой познакомиться, побеседовать.

Дверь на наш звонок открыл лично Ваня. Жена на кухне вовсю готовила ужин для «дорогих гостей». Познакомились. Микола сразу же после рукопожатия извинился: «Прости, негде побриться было...» Я тут же добавил. «С рыбалки едут. Гостят на Пинщине». Мичман Иван О., как и подобает военному человеку, тут же проявил смекалку: электробритва лежала на полке в прихожей, рядом разумеется, висело и зеркало. Сам же хозяин, перекинувшись двумя словами с супругой, извиняясь перед нами, отправился в магазин.

...Все было хорошо в тот вечер. Все, наш разговор за столом, и ужин. Все было хорошо. Мало было выпивки. Разве мог принять иначе, нежели с коньяком, «высоких гостей» военный человек Иван О., журналист, поэт, студент-заочник самого престижного в республике учебного заведения – Белорусского государственного университета?..

То-то было горя у Миколы Купреева с отставным учителем из Телехан Семеном Н. по дороге из гостей в уютной квартире на жесткие вокзальные скамейки. Они шли, поочередно вспоминая сытую закуску: картошку, жареную вперемешку с колбасой и луком, и все сокрушались, корили меня: «Чего ж ты, Валера, не сказал ему брать вино?.. Шесть бутылок бы вышло!.. По три-четыре стакана на брата...»

...Миколу я видел много раз и всяким – никогда, ни разу не видел и не знал обижающимся на кого-то и что-то, не видел подавленным и растерянным, не припомню его сердитым, тем более злым. Я знал, что ему все больше напоминали о себе болезни, давняя хромота. Его школьный ученик (Микола Купреев после окончания Брестского пединститута несколько лет учительствовал в деревне Стошаны на Пинщине), поэт и редактор газеты в райцентре Пружаны Микола Антоновский пристроил своего бывшего учителя в Попелевскую сельскую школу, что на самом пороге Беловежской пуши. Там после долгих скитаний и осел Микола Купреев, уже тяжело больной, но полный, как оказалось, нереализованных сил и замыслов.

Уже вовсю дули ветры демократических перемен. Белорусские литературные издания всегда, как черт ладана, боявшиеся малейшей крамолы, стали буквально нарасхват печатать внушительные подборки стихов учителя из глубинки Николая Семеновича Купреева. Еще бы, такая биография! А стихи... Да и самим изданиям позарез хотелось как-то реабилитироваться перед читателем и тем же Купреевым. А стихи, баллады и поэмы его и в самом деле были биографичны, а главное – высокоталантливый. На глазах у шестилетнего Миколки Купреева полицаи зверски замучили мать: раненую живьем закидали землей. За связь с партизанами. Будущий поэт, в страхе забившись в кусты, видел это. Об этом и поведал дядьке, родному брату матери. В отместку за это сверстника Миколы, сына главного расстрельщика-полицай,

дядька-партизан затащил в муравейник и привязал к дереву – на долгую, мучительную смерть. Об этом тоже напишет Микола Купреев...

Следующая, вторая книга поэзии «Правінцыйныя фантазіі» («Провинциальные фантазии»), выйдет в 1995 году, спустя почти 30 лет после «Непазбежнасці». Выйдет и сразу станет событием в литературной жизни Белоруссии. Книгу выдвинут на Госпремию. Но – увы! Судьба в который раз отвернется от Миколы Купреева. Сами того не желая, чиновники от литературы в очередной раз обогатят новыми красками и без того богатую легенду о Поэте.

Заканчиваю это повествование, а где-то в Беловежской пуще сидит на пне Микола Купреев и пишет свою новую повесть, а может поэму, балладу или стихотворение. А может, может в забытой Богом полесской деревушке, ковыляет не спеша в «лавку» за «бутэлькай гремучей смеси» – хоть так развеять печаль одиночества. Но где бы ты ни был, что бы ни делал, брат Микола, дай Бог тебе здоровья, а нам – встречи на нашей горькой, нашей доброй, нашей родной земле.

1999

## Как Анатоль Сыс купил город Смоленск...

Мокрый, мерзко щиплющий лицо ноябрьский снег. Спешу под крышу метро. У входа на станцию «Баррикадная» кто-то дергает за рукав. «Ба-а, какая встреча! Слава Ананьев. Сколько выпито – перепито...».

– Старик, а я тебя недавно вспоминал. – Слава по-птичьи косит взгляд и добродушно смотрит на меня с высоты своего почти двухметрового роста.

– Не иначе с недопою, – поддерживаю я шуточный тон, что задает Слава.

– Старик, я в завязке, второй месяц. – На полном серьезе говорит Слава. – А вот вы там, в Минске, что-то балуете. Камни в окна президенту кидаете.

– Слава, неужто я похож на тех, кто камнями кидается?

– А кто вас знает. – Слава по-детски поводит обидчиво своим косым взглядом. – Здесь вы одно говорите за стаканом, а там... Нет, белорусы хорошие ребята!.. Я дружил с Сашкой Стригальевым, – резко меняет тему разговора Слава Ананьев. – Мы с ним в Литинституте в одном семинаре учились. И с Толей Кудласевичем. Помню, как с Толей на Белорусском вокзале продавали книжку его стихов. Толя поет под гитару свои песни на белорусском языке, подходят земляки, слушают, а я им книжку его толкаю... Поджало нас тогда, деньжата нужны были. Вот и совместили культуру и рынок.

– Да-а, – как-бы спохватываясь, громко говорит Слава. – А еще есть у вас Анатоль Сыс. Хороший поэт, просто выдающийся! Знаешь, – уже тише произносит Слава, – он, по-моему, запросто может кидать камнями в Лукашенку. Мы с ним дверь в дверь жили в Шереметьеве в 1989 году, на девятом совещании молодых писателей бывшего Союза. Помню, под утро выхожу из своей комнаты, а у двери напротив – батарея пустых бутылок. Ну, думаю, свой человек, можно зайти, полечить похмелье. Стучусь. Дверь открывает какой-то пацан. Захожу в комнату. За столом сидит бородатый, с круглым носом Анатоль Сыс. Я его днем раньше приметил. Кто такой, спрашивает меня по-белорусски. Вячеслав Ананьев, отвечаю, русский поэт. Отдаешь Смоленск, спрашивает меня в лоб Сыс. А на столе у него – тесно от бутылок. Водка, вино. Рядом, как по команде «смирно», стоят какие-то малолетки, в рот ему заглядывают.

– Русский поэт, говоришь, – смотрит на меня из-подлобья Сыс. Наверно, выпить хочешь. Не дам! Отдавай Белоруссии Смоленск, тогда и говорить будем!

Я растерялся. А выпить хочется. И тут меня осенило. Давай, говорю, расписку напишу, что передаю Смоленск Белоруссии, а ты мне бутылку ставь.

– Две! – Сыс делает широкий жест и придвигает мне тетрадь, что лежала перед ним на столе. – Пиши! «От имени русского народа в здравом рассудке и трезвом уме я, поэт Вячеслав Ананьев, пишу расписку о передаче на веки вечные города Смоленска белорусскому народу, его основателю и истинному хозяину». Подписывайся!

Я подписался, что делать, как-никак, а две бутылки водки...

Сыс указывает пальцем: «Перед своим именем напиши «русский поэт». А сам ниже написал: «От России белорусский город Смоленск принял поэт Анатоль Сыс».

– Забирай две бутылки. – Подает мне со стола водку Сыс. – Это с собой. А сейчас, как и подобает в таких случаях, будем отмечать сие историческое решение. – Встал из-за стола, босиком подошел к двери, ведущей на балкон, распахнул ее. Прямо над балконом, заливая всю округу синеватым фантастическим светом, висела огромная луна.

– На колени! – скомандовал Сыс своему окружению. – Молитесь – свершился исторический факт. Отныне и во веки-вечные над городом Смоленском будет сиять, как эта луна в небе, «бел-чырвона-белый стяг»!..

1999

## Дама из Амстердама

В храме после утренней службы, если это будний день, обычно выпадает время дневного покоя, затишья. Сторожа, да и другие работники храма, за исключением разве что уборщиц, любят эти часы. Сядешь на скамейку где-нибудь в дальнем уголке и отдыхаешь, и наблюдаешь за порядком.

Всякого рода ЧП в храме – крайняя редкость. Ну, бывает, зайдет кто-нибудь в сильном подпитии, подойдешь, попросишь его выйти из храма, он тут же извинится и тихонько уйдет. Правда, для сторожей московских храмов есть напасть иного рода: бомжи (обычно они донимают зимой, особенно в сильные холода) и, назовем их так, «умники».

От бомжей отделаться просто, деньги им подавать запрещается, чтоб не провоцировать пьянство. Подаем что-нибудь из съестного. В храме, у кануна (место поминовения усопших) стоит жертвенник. Прихожане кладут в него что-нибудь (исключая мясное) из продуктов, как правило, с запиской о поминовении усопшего (усопших).

Гораздо хуже обстоит дело с «умниками». Порой доходит до курьезов. Человек идет в храм не Богу помолиться, а рубаху на груди порвать, доказывая, что Бога нет, а мы, все тут собравшиеся, дураки. Вот и приходится выставлять такого воинствующего атеиста из храма вон. Зачастую, чего греха таить, тумаками, да иного они и не понимают, и не признают. Случаются выяснения отношений и иного порядка.

Дама в роскошном одеянии (о таких говорят «женщина без возраста»), рассчитываясь со свечницей (продавец в церковной лавке), на пол уронила купюру.

– Матушка (обычно так обращаются к женщине в храме), вы потеряли деньги.

– Я не матушка! – отрубила она, даже не удостоив меня взглядом.

Подобного со мной не случилось. Я не первый год работаю сторожем в храме и знаю, как женщины, даже из так называемого высшего общества, а таких в Москве всегда было предостаточно, любезно и, что немаловажно, с удовольствием реагировали на обращение «матушка». Причем, и хочу это подчеркнуть, в том числе и женщины в цветущем возрасте. А тут... Дело понятное, с ней лучше покороче, попроще – опять же, таких в Москве, – да и в ней ли одной? – прости Господи... Плюнуть и уйти восвояси. Но я в храме, к тому же на работе.

– Женщина, – слегка смутившись, обращаюсь к ней, – вот ваши деньги. Вы их случайно уронили, – подаю ей купюру.

– Где ты видишь женщину?!

Я так и отпрянул, совершенно не ожидая от нее подобной реакции. Много чего насмотрелся в храме за годы работы, такое было впервые. Я, вроде, и с миром, и душевно к ней...

– Женщины у метро помидоры продают, – не унималась она. – А я – дама! Дама из Амстердама!.. – И она артистично отвела руку в сторону и вверх, также резко закинув голову в ярком, с частыми красными и черными полосами тюрбане.

Из меня, чего со мной давно не бывало, вылетел самый настоящий дикий смех, и вместе со смехом вылетел на улицу я – не будешь же хохотать в храме.

«Дама из Амстердама» довольно долго не выходила. Я уже стал замерзать, наблюдая за храмом со стороны и ожидая ее ухода.

Не успел я войти в храм, меня тут же позвала свечница.

– Валерий, ну зачем вы так? Она очень добрая и милая женщина. Возможно, со странностями, как все киношники.

– Она что, в кино работает?

– Работала на «Мосфильме», теперь – на телевидении. И помолчав, решительно добавила:

– Вам следовало бы извиниться. Женщина она интеллигентная, тонкая. И уже давно заходит в наш храм. На службы не приходит, но поставить свечку, помолиться – заходит. Так что...

– Я все понял и, как только ее увижу, обязательно попрошу прощения. Простите меня и вы, а рассмеялся я потому...

...Не одну сотню лет назад на Москве, а потом и шире – по России и Союзу, вплоть до самых наших дней, повелось это громкое и, как многим кажется, солидное и престижное «Дама из Амстердама».

Проституция, да и просто супружеская неверность, на Руси во все времена карались самым жестоким образом – когда-то женщину за измену мужу при стечении народа насмерть засекали розгами, чтоб другим неповадно было. Тем не менее богатый молодец, подпив где-нибудь в кабаке, подзывал полового и, звякая серебром, горячо дышал в ухо: «Девку давай!».

Девки, разумеется, были. И была порочная любовь — за очень большие деньги. А где порочная любовь – там и болезни, как теперь говорят, сопутствующие этой любви. И она, эта любовь, ясное дело, была, как опять же теперь бы сказали, подпольная. Любовь-то подпольная, а болезни явные. И чем глубже прятали эту любовь – тем больше болезней вылезало наружу. А когда сифилис (тогда неизлечимый) загулял на манер лихого молодца из конца в конец стольного града Москвы, порочную любовь порешили узаконить. Но опять же – в строгих рамках, под надзором.

Так на Москве было открыто первое и тогда единственное (!) «питейное заведение с номерами». И (прости Господи) окрестили его по имени самого фривольного города Европы, по примеру коего и было открыто сие заведение – «Амстердам»!

И вот, бывало, гарцует по Москве девица, красавица из красавиц – у мужиков слюнки вышибает, а ревнивые жены ей вслед:

«Ишь, хвост распустила! Не иначе дама из «Амстердама»...

1998

## «Койтусальный станок» С ТОРФОЗАВОДА «ОГДЕМЕР»

История эта больше смахивает на анекдот. Да и слушателями она непременно воспринималась как нечто самое невероятное. И всякий раз во время ее повествования смех стоял такой, что, как говорится, за животы хватались, покатам ходили. Правда и то, что кое-кому смех этот в самом прямом смысле стоил горьких слез и даже карьеры. А случись подобное, немногим ранее, наверняка и головы бы кое-кто не сносил. Про сибирскую «командировку» для ее героев и говорить не приходится. Но с «культом личности» счеты были к тому времени вроде как сведены, и обошлось все по-кабинетному тихо и гладко, малой кровью. А еще точнее – отставкой главного виновника ЧП и, как в подобных случаях обычно бывает, перетасовкой кадров.

Словом, «стрелочник» был тут как тут, в полном смысле слова, под рукой у большого, пусть и местного, начальства, на соседнем этаже, а вина его на таком виду, что о какой бы то ни было защите человека и речи не заводили. Куда там, политическую диверсию допустил! Если и не допустил, то, как пить дать, прошляпил. А за такое тоже по головке не гладили...

Кое-кто же довольно потирал руки и в охотку, разумеется, с оглядкой, смеялся. А было от чего...

Эту историю я услышал в 1976 году, став штатным сотрудником пинской газеты «Полеская правда». Сдал материал, не проверив какой-то совершенно пустяковый факт. Короче говоря, вышел незначительный, но все же казус. А в «Полеской правде» в те времена все ее бывалые сотрудники, что называется, на воду дули. Еще бы!..

Мой шеф, заместитель редактора Александр Петрович Дунец, мудрый и душевный человек, после небольшой взбучки велел мне:

– Закрой кабинет. Я недоуменно посмотрел на него.

– Закрой-закрой...

Я защелкнул замок изнутри, что делалось нами только по случаю выпивки, весьма нечастой тогда, и все так же недоуменно оглянулся на своего шефа.

– Садись и слушай, – велел он.

– После того, как в Пинске упразднили область, газета «Полеская правда» тоже понизилась в статусе, – стала районной. Но после очередной реорганизации распространялась и на соседние районы: Ивановский и Логишинский. Произошла и очередная чехарда с кадрами. Кое-кто остался за бортом редакции, из журналистов бывших районов в Иванове и Логишине.

Коллектив «Полеской правды» возглавлял недавний фронтовик, боевой офицер-орденоносец Михаил Романович Гец. Гомельский полешук, человек порядочный, прямой и честный, какие тогда все же еще водились, он для молодого пинского руководства был что в горле кость. Хоть тресни, не идет на поводу у первого секретаря горкома. О других чиновниках и говорить нечего. А такое по тем временам, да, поди, и теперь, вряд ли устраивало местное начальство. От строптивного редактора давно бы избавились – чего проще. Но – фронтовое прошлое. А это – связи на самом высоком белорусском верху.

Можно что угодно говорить о том времени, но у нас тогда парадом командовали люди исключительные, хотя бы потому, что знали цену и жизни, и смерти, а соответственно и цену услужливому подхалиму и непокладистому, но честному и добросовестному работнику, пусть и невысокого ранга.

Короче говоря, истинных фронтовиков и партизан в обиду не давали. Да и сами кабинетные генералы из партийного молодняка послевоенного призыва не шибко-то зарывались с такими – знали, чем все может кончиться.

Словом, местное руководство редактора «Полесской правды» терпело. Зубами скрипело, но – терпело. И был у редактора Геца ответственный секретарь редакции некто С. Этот самый С. к тому времени заочно окончил факультет журналистики. Видимо, понравилась ему, провинциальному газетчику, жизнь столичного студента, хоть и заочника. И вот он, новоиспеченный дипломированный журналист, а таковых тогда в Пинске можно было по пальцам пересчитать, кладет на стол редактору заявление с просьбой разрешить ему учиться, опять же заочно, в институте иностранных языков.

– Никаких институтов! – отрубил редактор Гец. – Кто за тебя работать будет? Кто тебя снова в течение шести лет заменять будет, когда ты на сессию поедешь?

Тем не менее дипломированный журналист, ответственный секретарь редакции, не отступал. На столе редактора «Полесской правды» снова лежало заявление. Но Михаил Романович Гец был непоколебим:

– Или работай, или я буду другого ответственного секретаря искать. Ты за счет редакции получил образование, будь добр, работай. «Полесской правде» специалист со знанием иностранных языков не нужен.

«Я ему еще докажу, что и в районной газете не помешал бы специалист, знающий иностранные языки!» – зудел, бывало, этот самый С., когда заходил разговор о его неудачной попытке продолжить учебу в инязе.

И дозуделся. 7 июля 1964 года в газете «Полесская правда» появилась небольшая, довольно странная и все же привычная (обычная) по тем временам заметка «Мал золотник, да дорог». В Пинске на заметку внимания никто не обратил: мало ли что газета печатает. Учителя учили, врачи лечили, рабочие давали план, колхозники – тоже. Ну и начальство, разумеется, не отставало. В это хорошее дело вносила свою лепту и газета «Полесская правда».

Гром грянул ровным счетом через месяц. Да такой гром, что раскаты его слышны были по всей Белоруссии. В самой редакции «Полесской правды» стены сотрясались и полы ходуном ходили под ногами сотрудников. Стукнула дверь редакционного кабинета вослед пулей вылетевшему из кресла редактора газеты М. Р. Гецу. Долго гремели двери и других редакционных кабинетов – от зачастивших комиссий и сотрудников госбезопасности.

Следствие велось долго, упорно – и... никаких конкретных результатов. Кто прислал (подкинул) ту злосчастную заметку в редакцию, до сих пор толком не известно. Так, догадки, домыслы. Заметка та, что по тем временам не так часто случалось, была отпечатана на машинке. Газетные же активисты, так называемые рабкоры и селькоры, писали обычно от руки на тетрадном листке и, как правило, с ошибками и стилистически коряво. Та же заметка, как потом пояснял заведомо промышленности редакции П., подготовивший ее к печати, была написана грамотно и, что вообще было редкостью, ни в какой правке не нуждалась.

Заведующий отделом промышленности П. газетчик был со стажем, но, как и большинство тогдашних «районщиков», неискушенный провинциал из селькоров. Я сам не однажды слышал, как он, непременно это подчеркивая, о своем образовании говорил: «Закончил партизанский университет». П. и в самом деле в годы фашистской оккупации был редактором небольшой партизанской газеты. Партизаном он оставался и спустя двадцать лет, и сорок. Был нетороплив, молчалив, осторожен, взвешивал каждое слово.

Ему на стол и легла та заметка. Он повертел ее в руках и... отложил: надо созвониться, свериться. Или при случае завернуть на предприятие, поговорить с начальством, познакомиться с автором. Но, как назло, в тот же день позарез требовался материал: в газете «дырка». А тут как раз под рукой заметка. И как раз требуемого объема и соответствующей тематики. Да еще «с места», да написанная не сотрудником редакции, а сам рабкор, пусть и незнакомый, рассказывает об успехах своего трудового коллектива...

Ответственный секретарь торопил. И заведомо промышленности П. еще раз взглянул на заметку, еще раз повертел ее в руках: она ему все так же не нравилась. Да и фамилии не совсем обычные. Хотя – какие тут, на Пинском Полесье, фамилии? Так, клички, только что узаконенные. И свериться никак не выходит – попробуй дозвонись до торфозавода, что зашился в болотной глуши Ивановского района... Но заголовок заметки бывший партизанский редактор П. решил все же заменить: ну, что это за «Койтусальный станок»? Куда лучше и звучней, а главное – надежней и испытанней – «Мал золотник, да дорог»! Ничего, что старо, разве может устареть народная мудрость...

Примерно через месяц, как только М. Р. Гец услышал в трубке излишне приказной тон первого секретаря горкома, требующего безотлагательно спуститься к нему в кабинет (редакция находилась двумя этажами выше в том же здании), Михаил Романович понял: что-то из ряда вон.

На столе первого секретаря лежала «Полесская правда». Он ткнул пальцем в заметку. Она в нескольких местах была жирно подчеркнута красным карандашом. Михаил Романович Гец не успел вчитаться, перед глазами потемнело, пол качнулся, ноги стали ватными. Подобного в газете он и представить не мог...

## МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

На торфозаводе «Огдемер» есть немало новаторов, которые любят придумывать что либо новое, лишь бы оно облегчало труд рабочих, ускоряло процесс, давало экономию предприятию. К таким прежде всего следует отнести т. т. Богомаза, Нестерука, братьев Гуль. Они ремонтируют машины, готовят различные приспособления. Недавно новаторы своими силами изготовили койтусальный станок для рабочих полубрикета.

Койтусальный станок не новость в малой механизации. Он простой (шnek со втулкой, рама, несколько небольших кронштейнов). Раньше на конечной операции по изготовлению торфяного полубрикета были заняты старший рабочий Хименович, работницы Вагина и Вульва. Теперь на новом станке справляются двое. Кроме облегчения труда, возросла втрое производительность, получилась экономия зарплаты.

Кажется небольшое предложение внедрено, но, как говорят, мал золотник, да дорог. Наши слесари-ремонтники отлично понимают, что рубли складываются из копеек. Поэтому они по инициативе и изготовили в неурочное время койтусальный станок. Работает он безотказно. А со стороны коллектива большая благодарность новаторам.

М. МИХНОВЕЦ.

старший мастер

торфзавода «Огдемер».

Посмотрели, чуть ли не через лупу, редакционный «Журнал регистрации писем». Нет, письмо с торфозавода «Огдемер» с заметкой «Койтусальный станок» в журнале не значится. Не стало в редакции, как ни странно, и самой заметки, которую обрабатывал заводделом промышленности П. Не нашли и оригинала статьи в типографии, где они обычно хранятся в скрутках до конца года. Самое невероятное – не подписывал этот материал к печати и редактор газеты М. Р. Геца. А это уже – явная диверсия. Ответственный секретарь редакции С. бил себя в грудь, доказывая, что заметку заслал в набор, только прочитав заголовок и посчитав строчки, его очень торопил дежурный по номеру, завсельхозотделом, также бывший партизан и селькор...

– Чья же это все-таки работа? – спросил я Александра Петровича.

Он то ужасался, то до слез смеялся и все сожалел, что так глупо закончилась редакционная карьера М. Р. Геца, которого очень ценил и уважал.

– Знаю, но не скажу.

– Почему, Александр Петрович?

– Михаила Романовича уже нет. Он тоже догадывался, кому было нужно избавиться то него.

– И все-таки, Александр Петрович?

– Скажу, но перед своей смертью. Кстати, С. уволился из редакции тогда же, по собственному желанию. Хотя мог остаться. Уходя, дал мне честное слово, что это не его рук дело.

– Чье же, Александр Петрович?!

– Я тоже считаю не его. Но, повторяю, пока буду жив, не скажу – кто.

...Александр Петрович Дунец умер спустя два года: сердечный приступ. Умер прямо за столом, в рабочем кабинете.

2000

## Сороковины по Галине Старовойтовой

Теперь и не припомню, в ЦДЛ на это мероприятие я прикатил специально, или, как часто бывало, зашел туда по безделице посидеть с кем-нибудь из знакомых писателей, попить чайку, посмотреть что-либо стоящее внимания и траты времени. Но точно помню, что в тот день даже в буфет не спускался. Как ввалился в вестибюле в кресло, так и сидел как приклеенный, пока почтеннейшая московская публика не стала подниматься в Большой зал.

Сижу, смотрю: один за другим, поодиночке, но чаще парами заходят, вваливаются персоны всё известные, а то и просто одиозные – Егор Гайдар в сопровождении папы, адмирала от советской журналистики, писатель-затейник Владимир Войнович, бардесса (исполнительница собственных песен) Вероника Долина, отец Георгий Чистяков (один из самых ярких раскольников Русской Православной Церкви), поэт-архитектор Андрей Вознесенский (непременный чтец собственных стихов «по поводу» на подобных мероприятиях). Этот – обязательно с супругой, детской писательницей Зоей Богуславской, известной в прошлом своими повестями о вожде Великой Октябрьской Социалистической Революции. Теперь она – координатор комитета по вручению премии «Триумф». Премия сия (50 тыс. долларов) учреждена на деньги Бориса Березовского. Последними ее лауреатами стали Светлана Алексиевич и Василь Быков. Чуть в сторонке от меня мило беседуют недавний посол России в государстве Израиль и давний политобозреватель газеты «Известия» и Центрального телевидения, с пеной на губах оправдывающий ввод Советских войск в Афганистан Александр Бовин и недавно широкоизвестный советский публицист, депутат Верховного Совета от крестьянства Юрий Черниченко. Расул Гамзатов как-то сказал: «Лучше социализм с человеческим лицом, чем демократия с лицом Черниченко». Сейчас советский публицист Юрий Черниченко до дрожи в голосе поносит всё советское, в том числе и крестьянство, елейными очерками про которое и кормился всю жизнь...

Короче говоря, всех, кого видел и слышал в тот вечер, при всем желании не вспомнишь, обо всех не расскажешь. Да это и никчему.

В Большой зал я поднялся, чуть ли не последним. Вот-вот погасят свет. Озираюсь: яблоку негде упасть, а в последнем ряду, рукой подать, свободное место. Но никто не спешит его занять, хотя людей у входа в зал собралось немало. Я туда. Ба-а! А соседка-то моя – Валерия Новодворская, одна из самых одиозных фигур нынешнего политбомонда России. Этаким Жириновский в юбке. А ниже, прямо передо мной, не кто-нибудь, а собственной персоной недавний второй (после Горбачева) человек в СССР А. Н. Яковлев. Его и со спины ни с кем не спутаешь, эта всем известная «кардинальская» лысина.

Первым на сцену (в полном смысле слова) выскочил, батюшка не батюшка, но в подряснике и с крестом, весь дергающийся и всё подпрыгивающий отец Георгий Чистяков. Левую руку положил на крест (она и не лежала), а правой он все время размахивал на манер большевистского вождя и всё (да простят меня верующие, я и сам такого батюшку раньше не встречал) кричал, захлебываясь, в микрофон что-то о демократии и краснокоричневой угрозе России. Он так разошелся, что через минуту-другую левую руку снял с креста, выдернул микрофон и поднес его к устам, точно он не духовное лицо, а эстрадный кумир.

Дальше всё пошло куда как чинно: к микрофону подошел в 92-ом в один день обанкротивший российских пенсионеров и рабочих непотопляемый Егор Гайдар. Его сменила, видимо, для разрядки чуть ли не нервной обстановки в зале Вероника Долина. Потом был обязательный Андрей Вознесенский, неутомимый демократ Владимир Войнович, «главный» журналист России Алексей Симонов, довольно-таки похожий на своего папу-писателя Константина Симонова... Говорили об одном и том же: о завоеваниях демократии, о том, что если придут

к власти коммунисты, Россия погибла, об угрозе «коричневой чумы» и т. д. и т. п. Ведущей на этом вечере была, как она сама о себе сказала, большая подруга Галины (имелась в виду Г. Старовойтова) неувядаемая Алла Гербер, литературный критик, съевшая зубы на воспевании социалистического реализма.

Говорили много и подолгу, но ничего конкретного о человеке, почтить память которого они собрались здесь, в Большом зале Центрального Дома Литераторов, о Галине Васильевне Старовойтовой, ученой, докторе наук, известном деятеле бывшего СССР и современной России, бессменном депутате...

    Был сороковой день ее трагической смерти – день поминаения.

1999

## Квартирный вопрос

В клубе писателей ЦДЛа встретил прозаика Виктора П., товарища по Высшим литературным курсам. Виктор, как всегда, чисто выбрит, подтянут, одет не богато, не строго, но выглядит «с иголочки». Он рослый, с красивым интеллигентным лицом, это еще больше подчеркивают очки. Они ему тоже к лицу. Самое интересное, Виктор любит выпить. И пьет довольно много, и, можно сказать, часто, но при всем при этом я ни разу не видел его пьяным, развязным, неряшливым. Говорит он всегда много, но ненавязчиво, и слушать его интересно, и, я бы сказал, приятно. Свою речь он сопровождает этакой полуулыбкой, глаза искрятся, словом, впечатление полнейшей искренности. А если учесть, что он не лишен чувства юмора, даже наоборот, сами понимаете, какой интересный рассказчик и собеседник прозаик Виктор П.

Мужчины подобного типа обычно нравятся, особенно женщинам. Я сам не однажды слышал, как наши сокурсницы и преподаватели ВЛК женщины, говоря о Викторе П., обязательно подчеркивали, что Виктор кроме всего прочего, импозантный мужчина. Короче говоря, был он всегда на виду, много писал и печатался, что, скажем, для меня так и осталось загадкой. Сегодня в Москве быть писателем не только не престижно и не выгодно, но попросту абсурдно и смешно. Особенно писателем русского толка, радеющим за моральные ценности. Тем большее удивление у меня всегда вызывал Виктор П., пишущий традиционную русскую прозу, или, если хотите, реалистическую прозу.

В самом деле, прозаик Виктор П. больше похож на «нового русского», нежели на писателя. Точнее, Виктор П., как две капли воды похож на преуспевающего коммерсанта, бизнесмена, или как там их, теперешних хозяев жизни, еще... Правда, он, насколько я знаю, как раз всегда и умудрялся не только писать «чистую» прозу, но еще сотрудничать, а то и работать в журналах типа «Медведь». Понятное дело, «медведи» не приветят писателя, будь он семижды гениальный, но выгляди, как они, «медведи» сказали бы, не круто – скромно и просто.

Прозаик Виктор П. коренной москвич и постоянно живет в Москве, но дороги наши давненько не пересекались и мы не виделись больше года. Эта встреча тоже вышла случайной, тем не менее мы обрадовались друг другу. Спустились в буфет, взяли вина, разговорились.

Оказывается, уже год, как Виктор живет у матери. С женой он, помню, разводился еще во время нашей учебы на ВЛК. А прожили они вместе почти двадцать лет. Я, грешным делом, думал, что в их семейной драме виноват сам Виктор, полагая что ему, процветающему, как я тогда считал, москвичу надоела жена и он нашел другую, молодую, такую же, как он сам, красивую, цветущую женщину. Сейчас подобным никого не удивишь. Это стало вроде даже модным. На самом деле все оказалось совсем иначе.

Жена Виктора, женщина в соку, дама породистая, устроилась в одну из московских контор, занимающихся куплей-продажей квартир. Шел 1996 год. Демократия (в сегодняшнем понимании) в российской столице обрела невиданные масштабы. Сплошь, уже даже в метро и троллейбусах, дамы постарше и совсем молодые девицы были облачены в роскошные, дорогие шубы и дубленки. Под стать им одевались и мужчины. Провинциал, я все дивился, откуда такие деньги? Ведь даже в Минске и близко не было (и нет!) того бесконечного потока новеньких, как теперь говорят, «с нуля» иномарок. Никто, повторяю, уже не удивлялся и «безлошадным» богатым москвичам. Разве человек, живущий от аванса до полочки может себе позволить и в будний день надевать роскошную шубу, дорогую дубленку? Разумеется, если зарплата этого человека среднестатистическая, а именно такую зарплату (в лучшем случае) получают рабочие, врачи, учителя, военные...

А теперь представьте себе Тверскую улицу, подземный переход на Пушкинской площади. Огромная, бесконечная толпа шуб, дубленок, кожаных пальто и курток, невиданное доселе обилие живых цветов, несмолкающее гудение разговора. А наверху, на улице бесконечные

волны рекламных огней, визг тормозов... И над всем этим – дым от сигарет, как правило, «забугорных», и даже тут, пусть едва уловимый, но стойкий запах таких же дорогих духов. А немного в стороне, чуть не под ногами – нищие, нищие, нищие...

Они появились в Москве как-то сразу и также незаметно, и почти в таком же количестве, как богатые шубы и кожаные пальто. Их никто и не замечал. По крайней мере, так казалось. А еще – разговоры, везде и всюду об одном и том же, и с одним и тем же резюме: обратного пути нет! Имелось в виду советское прошлое.

Это и была демократия. И был у нее гарант – Президент. Решительный, бескомпромиссный. Каким и должен быть гарант демократии.

К прозаику Виктору П. демократия постучалась, спустя два месяца после того, как его жена устроилась на работу в контору по купле-продаже недвижимости. Постучалась решительно, как и все, что делала демократия. Виктор П., ничего не подозревавший, дверь открыл сразу – был белый день.

– Вы Виктор П.?

– Я. А в чем дело?

– Это, – демократия ткнула в глубину коридора, – квартира вашей супруги. Выписывайтесь, забирайте свои вещи и съезжайте!

– Не понял...

– Через неделю придем. Не поймешь – объясним!

И демократия ушла.

А спустя неделю, как и обещала, демократия явилась снова. Позвонила. Громко, решительно, требовательно. Прозаик Виктор П. дверь не открывал. Но демократия знала, что Виктор П. дома. Перед тем, как подняться и позвонить в дверь, демократия позвонила Виктору П. по телефону. Но прозаик Виктор П., хозяин квартиры, дверь не открывал. А как же свобода?..

И демократия ввалилась в квартиру к прозаику Виктору П. вместе с вышибленной дверью. А еще спустя какой-то час-два, в травматологическом отделении больницы, мать прозаика рыдала в изголовье изуродованного до неузнаваемости сына и, как заклятая, повторяла одно и то же: «Выписывайся, милиция знать ничего не хочет...»

Прозаик Виктор П. выписался из больницы и пошел в милицию – выписываться из квартиры, которую, к слову, получил когда-то он, а не жена.

– А вы уже выписаны, – тоном не терпящим возражения и уступок сказали ему в милиции.

И попробуй возрази! Кто такой прозаик Виктор П., если тремя годами ранее, в октябре 1993 года, в победном для российской демократии году, в московскую квартиру писателя Валентина Распутина завалился ОМОН, ведомый ей же, демократией.

– Распутин В. Г.?

И поехал Валентин Григорьевич Распутин, этот плакальщик России, честь и совесть ее, как еще недавно не уставали повторять, любимый писатель русского народа в родной Иркутск – к месту прописки. Демократия демократией, да меру знайте, плакальщики несчастные!

И то хорошо, что с миром отпустили. Как же, писатель Валентин Распутин, Герой Социалистического труда, дважды лауреат Государственной премии квартиру получил как Советник президента Горбачева. Последний вместе с социализмом, пусть себе и с человеческим лицом, был выброшен на свалку политической и общественной жизни. Сам-то Горбачев, разумеется, остался и при квартире и при привилегиях, но социализм, а вместе с ним и писатели стали в Москве, вроде прошлогодней листвы: не мешалась бы под ногами – оставили бы в покое, а так...

– Старик, брось, – перебил мои рассуждения вслух Виктор П. – Распутина в обиду не дали. Демократы покуражились и уgomонились. Они не столь глупы, чтобы так откровенно третировать Распутина. Да и Валентин Распутин сегодня совсем уже не страшен демократам:

кто его видит, кто его слышит, кто читает... Писатель... А что сейчас в России писатель?.. Да хоть весь, в полном составе Союз писателей России?..

– А ты сам-то обращался в Союз? Квартиру, понятно, не дадут, но все же, хоть твое право в суде защитили бы. Когда-то в Бресте мой друг, белорусский поэт Михась Рудковский, разведясь с женой, ушел из квартиры и жил в сарае у знакомого литератора. Сам Михась Рудковский по сему случаю еще и иронизировал, мол, живу во флигеле в саду, дышу свежим воздухом. Правда, ему как-то по-быстрому выделили новую квартиру, Союз писателей помог.

– Старик, до меня ли Союзу? Они там никак общественное писательское имущество не поделят. Какой год тяжба идет, и конца этой тяжбе, как и склоке вокруг нее, не видать. Кстати, знаешь, как твой земляк Адамович умер?

– Алесь Адамович?

– Он самый. На очередном заседании суда. Прямо в зале заседаний. Так сказать, на боевом посту – за трибуной. Шла тяжба о разделе имущества бывшего Союза писателей СССР между «демократами» и «патриотами». С одной стороны – Алесь Адамович, Александр Борщаговский, Валентин Оскоцкий и прочие, с другой – Юрий Бондарев, Сергей Михалков с братией. Алесь Адамович, как всегда, горячую речь держал. Да так разошелся... Короче говоря, то последняя его речь была – из зала заседаний вынесли нашего славного демократа вперед ногами.

– Витя, ну зачем так? Ему уж Бог судья. Да и человеком он был, насколько мне известно, честным и принципиальным. В 66-ом – в дни суда над Синявским и Даниэлем, будучи преподавателем МГУ, отказался участвовать в травле Андрея Синявского, коллеги по университету, а это, согласись, подвиг, на который немногие писатели тогда отважились. За это его и поперли из первопрестольной. Хорошо, родной Минск принял. А потом и из Минска его турнули – опять же, за бескомпромиссность, Алесь Михайлович не давал покоя тамошним партийным бонзам. Благо, Москва в свою очередь, искупая грех, снова пригрела опального белорусского правдолюбца.

– Честность и принципиальность теперь всякая и разная. Тот же Алесь Адамович за пару лет в Москве несколько квартир сменил. Последняя на Патриарших Прудах была. Знаешь, сколько там жилье теперь стоит? А ещё твой Адамович в числе 42 представителей так называемой «творческой интеллигенции» в сентябре 93-го подписался под обращением к Ельцину безжалостно разгромить защитников «Белого дома». И разгромили, уничтожили. А там тоже были люди, русские люди... Так-то.

– Нет, что-то здесь все-таки не так.

– Старик, не что-то, а всё – не так! Давай допьем вино, скоро девять, буфет закрывают. Да и мне пора уже. Обещал матери сегодня пораньше быть, извини...

Мы допили свое горькое вино и вышли в слякотный ноябрьский вечер. Москва уже всю зажгла свои роскошные вечерние огни. На станции метро «Баррикадная» мы расстались уже без разговора.

На электричку, а там – в бедную и неудобную комнату, что той зимой снимал я в довольно далеком от Москвы Хотьково, ехать не хотелось. Конечно, об этом я не сказал своему товарищу по ВЛК, прозаику Виктору П. – ему и без того было не радостно. Да и не поехал бы я на квартиру его матери, где и без меня не широко-то просторно. Тем более, что я уже не первый год работал сторожем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке. Там в зиму с 95-го на 96-ой, всегда находилась кружка горячего чая и теплый угол – чтобы скоротать бездомную московскую ночь. Господь милостив...

1999

## Встреча спустя годы

В холле Союза писателей России жду встречи с приятелем, прозаиком из Нижнего Новгорода Евгением Шишкиным. Мы вместе учились на Высших литературных курсах. Не виделись почти четыре года. Здесь же, в холле, художник из Архангельска, как сообщает о том табличка на стене, устроил небольшую выставку-продажу своих картин. Работы все больше о русском Севере, и они, можно сказать, идут нарасхват: картины яркие, колоритные, сделанные мастером, а цены просто мизерные.

Русские писатели и все, кто заходит в теперешний Союз писателей России, народ, разумеется, небогатый, но к истинному искусству не глух, и с легкостью отстегивает, возможно, последние «червонцы»: картины стоят того, да и многим хочется поддержать художника, еще молодого, дюжего мужика, с простым бородатым ликом северянина. Ясно, что привело его в первопрестольную – полное безденежье. В Архангельске – свирепая безработица. А кто и работает, зарплаты не видит по полгода и более.

В противоположном углу от самодеятельной выставки-продажи уселся другой, такой же дюжий, как художник-северянин, мужик. Мужественное, простое, но без бороды лицо, выдавшая виды шапка-ушанка, не одного года носки обычное демисезонное пальто, хотя на улице московский январь и лучше бы что-нибудь потеплей надеть. И голос, густой, рокочущий, командирский. В руках у мужика – рукопись. Он показывает ее стоящему напротив молодому человеку, они что-то обсуждают, согласовывают. А голос мужика все гудит, рокочет, знакомый голос. Мы переглядываемся с художником.

– Никак Язов, – подмигивает мне художник.

– Вроде. Но вид?..

– Браток, у кого теперь вид другой, сам понимаешь... Входит Женя Шишкин. Здравомся, обнимаемся. Он тут же оглядывается на голос. Женя тоже из простых русских парней, кто не только в вузах учился, но и сапоги носил положенные два года. Кстати, об этом мы не однажды вспоминали с доброй улыбкой.

– Командир, – кивает мне в сторону Язова Женя и улыбается. – Да-а, – и уже нам с художником, которого видит впервые, но чувствует вполне своим, добавляет другим, каким-то суровым, с обидой голосом: – А ведь маршал был, министр обороны... Почему струсил? А может... У сегодняшних вождей рука бы не дрогнула.

Мы еще раз, не сговариваясь, посмотрели в противоположный угол, где сидел, все также рокоча густым басом, недавний министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, и, верно, каждый из нас подумал об одном и том же.

Но у жизни свои правила, и она, рано ли поздно, спросит с каждого из нас.

Спросится с нас и после смерти...

1999

## Тридцать сребреников

В Москве писатели разделились (в основном по национально-политическому признаку) на четыре Союза. Правительство России, давно махнувшее рукой и на литературу, и на писателей, вдруг учредило «стипендии остронуждающимся» и при этом «активно работающим в литературе писателям». Надо отметить, что стипендии (довольно справедливо) были разделены среди всех четырех Союзов.

Что тут началось! Уж как только не изощрялись претенденты, выкладывая доводы в свою пользу... «Остронуждающимся» же, как правило, оказывались, причем во всех Союзах, все «приближенные ко двору» либо, в лучшем случае, – пара-тройка человек, что уже чуть ли не пошли по подворотням в поисках подножного корма.

И вот в ЦДЛе поэт В., «демократ», подходит к товарищу по Литературному институту прозаику А., «патриоту». Последний каким-то чудом, разумеется, без гонорара, только что издал неплохой роман.

– Как живешь? – спрашивает поэт.

– Так и живу, – показывает протертые на локтях рукава пиджака прозаик.

– Стипендию хоть получаешь? Прозаик отрицательно качает головой.

– А был бы в нашем Союзе – получал бы! – чуть ли не злорадно выпалил поэт. И «букера» мог бы урвать...

– Избави Бог, – так же резко ответил прозаик товарищу по институту, – тридцать сребреников не хочу.

1999

## В белорусском городе Бресте...

Несколько лет не был в Бресте. Раньше, бывало, и в Москву, и из Москвы ехал через Брест. Теперь же нашел путь более короткий и удобный: поездом до Ивацевичей, а там автобусом в Пинск.

Брест же из всех городов Белоруссии, включая и родной Пинск, мне ближе всего и милее. Как Львов на Украине. Самому себе не хочется признаваться: люблю все русское, но вот из украинских городов милее мне Львов, нежели «русские» Харьков, Донецк (меня туда никогда и не тянуло) и даже «мать городов русских» Киев...

Так и Брест. С юности притягивал меня не Минск, не Гомель, не Гродно, не родной Пинск, а Брест. Особенно в молодости, когда жил там поэт Михась Рудковский. Сколько было пересговорено, сколько выпито вина...

Брестский вокзал. Он и теперь просторный, удобный, уютный. И самое поразительное – чистый. Поднимаюсь на мост и незаметно как бы втекаю в сам Брест, в старый город. Мне надо на улицу Наганова, в отделение Союза белорусских писателей. Там меня ждет секретарь отделения поэт Алесь Каско.

По улице Советской дохожу до памятника Ленину. Помнится, во времена моей молодости в Бресте много говорили о том, как некий коммунист из рабочих, измотавшись ходить по коридорам власти (многие годы он ждал квартиру), положил на пьедестал памятника партийный билет, облил себя бензином и поджег. Немногим ранее подобным образом выразил свой протест чешский студент Ян Палах против ввода советских войск в Чехословакию. Видимо, он и вдохновил брестского коммуниста...

Сейчас времена другие. На площади Ленина в небо взметнул купола костел. Я же помню его как краеведческий музей Великой Отечественной войны. Владимир Ильич Ленин как раз и указывает брестчанам и гостям города на костел, как некогда – в светлое будущее.

С площади Ленина поворачиваю направо, иду как бы вниз. Прохожу улицу Энгельса, улицу Чкалова, улицы Коммунистическую, Крупской, Чапаева и, наконец, выхожу на улицу Наганова. Благо, они небольшие, неширокие, уютные. Тут нет-нет да и повеет еще «польским часом» – Брест, как известно, до сентября 1939 года был центром воеводства тогдашней Польши. «Белопанской», как говорили в славные времена моей молодости.

С Алесем Каско мы давние приятели. На сей раз быстро решили свои дела, и я надумал проведать Миколу Прокоповича, тоже поэта и друга молодости. Путь тут недалекий. Мимо Ленина, снова, как и в первый раз, направо. Пересекаю улицы Карла Маркса, Комсомольскую и напрямик по Советской – на улицу Куйбышева. Здесь телерадиокомитет, здесь же и студия телевидения.

Миколу Прокоповича застаю на месте. Опять же чай, разговоры о поэзии, о работе. Вспомнили Михася Рудковского. Он сам добрых лет пятнадцать сидел в этом кабинете. Теперь только его портрет. На стене в рамке.

Боже мой, когда это было?! В этом кабинете с Михасем (царство ему небесное!) мы пили вино, водку. Под простенькую – на хапок – закуску. Читали стихи...

Моя грусть передалась и Миколе, решил развеселить его, пошутил:

– Знаешь, Микола, а Брест не изменился. Сколько в нем не был, а он все такой же – красивый, тихий, уютный. Ну разве что Ленин вместо известного всем пути дорогу в костел указывает. Не иначе, как папе Римскому продался. А может, католичество принял?

Шутки не получилось. Микола Прокопович стал – грустным еще больше. Так мы и расстались. Хорошо, хоть на прощанье я вспомнил, что моему другу через два месяца исполняется 50 лет. Не шутки. Поздравил я Миколу с предстоящим юбилеем и двинул на улицу Московскую, к Михасю Рудковскому.

Первое, что бросилось мне в глаза у дома, где жил поэт, – купола строящегося православного храма, церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского. И церковь эта – прямо под окнами Михася Рудковского. Правда, через дорогу. И спустя семь лет после его смерти. Не дождался Михась...

Положил я к мемориальной доске цветок гвоздики, посмотрел на уже едва видимый портрет Михася Рудковского на другой доске, повыше той, где высечены его имя, даты рождения и смерти. Помолился. Перекрестился и на купола строящегося храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и подался на остановку. Сел в троллейбус, еще раз оглянулся на дом, в котором жил мой друг, прекрасный белорусский поэт Михась Рудковский, на храм Божий и твердо решил как можно дольше не приезжать в уютный, дорогой мне город Брест.

Сажу, уставясь в окно троллейбуса. До вокзала неблизко. Все та же Московская улица. И уже – не та... Что так давит на сердце? Словно нет уже тут ничего родного мне, словно и сам я тут чужой...

Есть еще один город Брест, во Франции. На берегу Атлантического океана. Но там я и вовсе никогда не был. Да и что мне там делать, на берегу Атлантического океана? А это – наш, родной, белорусский, пограничный город Брест, Брест-над-Бугом. Брест-Литовск, Берестье.

Прошу не путать...

1998

## Такая вот память

Всегда с недоумением, болью и даже страхом думаю о том, что в Пинске нет ни одного (!) памятника деятелям белорусской истории, культуры. Имею в виду не архитектурное, либо еще какое-то сооружение, а просто памятник. Стоит же в Пинске Ленин (памятников ему, еще недавно, был тут добрый десяток), стоят, в полном смысле слова, «железный Феликс», Киров, Карл Маркс... Как ни странно, в городе вообще нет памятника в честь деятелей культуры. Разве что крашенный-перекрашенный бюст Максима Горького, изваянный в лучших традициях соц-реализма – этакий буреизвестник революции из железобетона. Да и этот, с позволения сказать, памятник отечественной (?) культуры уже на моей памяти перекочевал в четвертое место – нейдет пинским градостроителям.

А названия улиц?.. Чего стоит «Ленинградская», когда давно уже и города такого на карте нет...

Помню, как местный партначальник, потирая руки, похвалялся мне, дескать, к столетию Якуба Коласа откроем памятник песняру.

– Где же памятник? – спросил партийного начальника спустя год после юбилея народного песняра Беларуси.

– Сорвалось! – махнул в сердцах рукой партначальник. – В ближайшую же круглую дату откроем, непременно откроем памятник. И в торжественной обстановке, на всю республику!..

Увы, в ближайшую круглую дату со дня рождения Якуба Коласа коммунистическому начальству было уже не до памятников культуры...

И, слава Богу, что ничего у них не вышло: стоял бы теперь, отлитый из чугуна, примитивный, наспех слепленный бюст Якуба Коласа в Пинске. Заслуживает он иной памяти и, следовательно, иного, не банального, воплощения. К слову, бюст тот еще не один год пылился на складе местного деревообрабатывающего (?) объединения. Интересно, где он сейчас?..

Много ли наших городов могут похвалиться тем, что с ними прочно связана жизнь одного из основоположников национальной литературы? Не буду повторять общеизвестное, скажу только, что именно в Пинске, на Пинщине, собственно, и состоялся писатель Якуб Колас, тогда еще просто молодой учитель Константин Михайлович Мицкевич. Но здесь же, в Пинске, учитель К. М. Мицкевич состоялся как гражданин и человек. Здесь он, преподаватель народного училища, выступил в защиту крестьян. За что был арестован, осужден. Сюда же, на Пинщину, он вернулся, выйдя из тюрьмы. Здесь, в Пинске, он познакомился с учительницей железнодорожной школы Марией Дмитриевной Каменской, которая и стала его женой. В Пинске в доме на бывшей Водопроводной улице, где они познакомились и жили, родился у них первый ребенок – сын Данила. Здесь, надо сказать, захоронена и частица его праха – под высокими елями, что стояли возле «дома на Водопроводной» и во времена, когда он родился. В Пинске Якуб Колас написал свои первые книги, которые тогда же и были изданы в Вильно. Пинские впечатления легли в основу написанной позже трилогии «На росстанях»...

Вся же память о Якубе Коласе в Пинске – обветшавшая «мемориальная» доска на доме, где он жил, да еще такая же доска на здании бывшего Пинского приходского двухклассного мужского училища, где Якуб Колас работал. Теперь в этом здании – психоневрологический диспансер.

Такая вот память...

1998

## Черный след

Все мы родом из детства. И у каждого из нас есть святое, ни с чем не сравнимое чувство, которое вместе с материнским теплом вливается в нас и которое мы проносим через всю жизнь. В дни радости оно напоминает нам, оно обязывает не забывать в шумной славе, кто есть ты, а в дни горьких неудач и лихой кручины согревает, вселяет силы, не дает сломить нас до конца. Вернешься после долгих странствий в края изначальные, где оставил свой первый след на земле, и поймешь: все, что поднимало тебя над мирской суетой, – чувство Родины!

Это в необжитой, дымящейся песками и зноем пустыне шумели в сердце твоём вечнозеленые сосны, белоствольные березы, а могучие широкоплечие дубы делились с тобой извечной думой о связях земли и неба, как о едином целом – корнях и кронах. Это в суровом, заснеженном Заполярье ты слышал мудрую песню золотых колосьев. Это в невыносимые морозы и в испепеляющий зной текла через тебя, вливая в жилы свежесть и бодрость, река детства.

Река детства... В силу разных причин и обстоятельств не у всех она есть. Родившиеся и выросшие в колыбели из железа и бетона помнят реки детства, зажатые в тиски гранитных берегов. Я счастлив: белоголового и вездесущего мальчонку, меня с ватагой таких же неугомонных сорванцов ласково качали на невысоких волнах сразу две реки с таким песенным и легким, как дыхание ребенка, названием: Припять. Пина... А когда я, молодой и крепкий, ступил на палубу речного теплохода с лирическим названием «Золотой плес», в моей крови запульсировал необъяснимый подъем души, какой испытываешь при первой любви.

Но, видно, так уж устроен человек: он, лежа на золотом пляжном песке, восхищается ясным синим небом, жарким солнцем; он возмущается, выходя из реки, видя цветные разводы бензина на водной зыби. Но он, человек, совсем не хочет знать, что это его обрывки газет и пачки из-под сигарет качаются на волнах и прибываются к берегу; это его бутылки и консервные банки летят в воду, дабы не засорять пляж. Я тоже возмущался не меньше, если даже не больше других, однако...

...Уже начинало брататься за полночь. На водной зыби, серебрясь веселыми блесками, заиграла молодая луна, когда звонком из рубки, прервав мои невеселые мысли, меня, вахтенного матроса, позвал к себе капитан:

– Валера, бери Саньку и подсоединяйте «откатку». Надо по-быстрому воду из машины вылить: теплоход на поворотах кренит.

– Так придем в порт. пойдём на заправку, там и откачаем чин чином, – возразил я.

– Ладно, зелен еще меня учить. Покачаешь там насосом. А за простой нам не платят. Прогрессивку получать, небось, любишь? Короче, буди Саню и – вперед!

Саню долго уговаривать не пришлось. Зеленоглазый, сухопарый и длиннорукий, он был далек от лирики и ловко, в одно мгновение, подсоединил «откатку». Заработал «на полную» двигатель и быстро стал высасывать из машины маслянистое месиво...

Я стоял на корме и смотрел, как из-под винта вместе с бурлящей водой вырывалась эта жижа и широкой полосой убегала куда-то вдаль, переливаясь в ярком свете луны. Это был необыкновенно красивый след за белым теплоходом с лирическим названием «Золотой плес». Но в глубине души я понимал, что это – черный след на реке детства, на лице родины. И этот след оставляю я.

## О «СЛУГАХ НАРОДА» И О НАС, ГРЕШНЫХ...

Москву, как известно, ничем не удивишь. Правда, удивляет то, сколько людей и с какой прытью до сих пор пытается все же удивить москвичей. А может, мне, в златоглавой столице приبلудному, это только кажется?

Декабрь 1999 года. Очередной предвыборный бум. Нелегкая занесла меня на Воробьевы (по-советски «Ленинские») горы, к стенам Московского государственного университета. Здесь в консультативно-диагностическом центре работает знакомый врач. Он по призванию литератор, а на хлеб насущный зарабатывает, будучи специалистом по УЗИ, причем в этой области он действительно специалист, если бы такой да в литературе. Но ехал к я нему через всю Москву не столько из-за того, что он хороший специалист, сколько потому, что обследование на УЗИ в белокаменной стоит по нынешним временам порядка 200 – 300 рублей. А, скажем, контрастный рентген почек тянет на 500 и выше. Словом, «Всё во имя народа, всё для блага народа» – недаром же десять лет назад кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь горкома партии Москвы Б. Н. Ельцин боролся с привилегиями партноменклатуры. Теперь в Москве за бесплатно не то что лечить – смотреть на тебя не станут врачи...

– Я стою на автобусной остановке в ста шагах от МГУ и рассматриваю броский плакат с портретами и биографиями кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. На остановке народу немало, но, кроме меня, на предвыборный плакат никто внимания не обращает. Возможно, уже ознакомились с ним ранее, возможно... Да что тут хвостом крутить: – первое, что приходит на ум, глядя на сей призыв к народу, – это классическое: «Ба, знакомые всё лица!».

И хотя я в последние годы крайне редко смотрю телевизор, слушаю радио, читаю газеты, лица действительно хорошо знакомые. Я бы даже сказал иначе: «Лица хорошо, а еще точнее – лица, изрядно надоевшие народу». Когда-то, еще в сталинские, теперь подавляющим большинством, как правило, всякого рода «кандидатов», проклятые годы депутатов разного уровня называли «слугами народа». Так вот, меня до сих пор поражает то, с каким упорством, в принципе, одни и те же люди, как из шкуры вон, лезут из просто народа в «слуги народа».

Рассматриваю портреты нынешних кандидатов в «слуги». Их на плакате одиннадцать. Россия – государство многонациональное. Потому, наверное, и смотрят с портретов люди не только русского типа. Точнее следовало бы сказать: русского типа из одиннадцати кандидатов данного округа тут, пожалуй, только один – это Куваев, первый секретарь Московского горкома КПРФ. Остальные же... Нет, боюсь прослыть фашистом, антисемитом или еще кем-нибудь в этом роде. Просто назову несколько фамилий: Асламова (журналистка, апологет «свободной любви»), Арбатова, Бунич, Задорнов (недавний министр финансов в правительствах чуть ли не всех ельцинских премьеров), Ольшанский и даже... Иванов...

Ну, а биографии кандидатов в «слуги народа» сочинены так, что хоть сию минуту любого из них в рай, и не просто в рай, а сажай там прямо «одесную Бога»...

Вспомнился незабвенный 1990 год, самое начало его. Гудел, колобродил родной мой Пинск, как, впрочем, и прочие города и веси тогдашнего, словно вдруг очумевшего, Союза ССР. Как грибы из-под земли, везде и всюду появлялись витии и пророки, потрясая, казалось, непоколебимые устои советской жизни. И сам я, глупый, хотя и сильно сомневался, поскольку многих витий знавал лично, все же поддался на авантюру, причем добровольно и безо всяких там дальновидных планов на будущее. Тем не менее я оказался первым, кто в редакционном коридоре «Полесской правды» зимним вечером приветил ломящегося в пустые редакционные кабинеты строптивного минского журналиста Иосифа Середича. Уроженец Пинщины, Язэп Сярэдзіч, или Пэзя, как провидчески метко прозвали его, прочтя имя наоборот еще в его ком-

сомольско-активные годы, давно и небезуспешно рвался на самый «верх». Некогда совсем еще зеленый сотрудник «Сельской газеты», Пэзя умудрился наступить на хвост какому-то немалому начальству, да сделал это так, что сумел понравиться самому Петру Мироновичу Машерову. Вскоре Пэзя удачно уселся в кресло заместителя редактора «Сельской газеты», откуда успешно стартовал в Москву, да не куда-нибудь, а прямо в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Это вам не фунт изюма... Тогдашние «академики» от ЦК не то что газетами – великой страной руководили! Правда, удачливый минский газетчик Середич поспел туда, как оказалось, к шапочному разбору: зашумела-загудела «перестройка», и все обернулось так, что вчерашние оплоты коммунизма стали первыми же его хулителями. Изворотливый партийный прихвостень Пэзя прибегнул к давней и верной своей тактике – развернулся на 180 градусов и снова стал Язэпом.

К тому времени Язэп Павлович Середич сидел уже в кресле заместителя редактора газеты «Советская Белоруссия». Помню, как осенью 1989 года потрясла меня, да и других сотрудников «Полесской правды», статья И. Середича, где он в полном смысле беспощадно громил (и без того уже поджавших хвосты) партийных чиновников за то, что по велению Генсека Горбачева (не без умысла ли?) им значительно увеличили жалованье. И это на фоне все ухудшающейся тогда жизни.

Эх, знали бы, что ждет нас за ближайшим поворотом!..

Язэпа же Павловича Середича, сиречь Пэзю, ждало место депутата Верховного Совета БССР и главного редактора придуманной им же для себя газеты, что, ничтоже сумяшеся, тут же учредил тогдашний Верховный Совет (чего он только не утверждал!) Её по-большевистски иезуитски нарекли: «Народной газетой». «Народная» редактору-депутату И. Середичу дала неограниченные возможности проталкивать личные интересы и как можно удобней и вольготней устраиваться в жизни самому и своим присным.

Сколько нас, уже взрослых глупцов, бегало по Пинску, где во всеуслышание, а где и на ушко, чуть ли не интимно, вталкивая в умы будущих избирателей имя «Иосиф Середич» со многими-многими сладкими эпитетами. Непросто нам было протолкнуть «демократа» Середича в «народные слуги», ибо на финишную прямую голосования вышел он один на один с тогдашним первым секретарем горкома КПБ, читай руководителем Пинска, М. Головешкиным. Некоторые из нас рисковали потерять работу, поскольку напрямую, как, к примеру, я, сотрудник «Полесской правды», подчинялись тогда первому секретарю горкома.

И все же, к нашей великой радости, депутатом стал не партийный назначенец, а наш, свой Иосиф Середич, земляк, полешук. Помню, как весной 1990 года, характеризуя Иосифа Павловича, поэт Микола Федюкович, у которого я частенько останавливался в Минске, заметил: хлопец он неплохой, правда, больно шустрый и при случае умеет пройти нос к носу и не заметить.

Спустя полгода, в сентябре того же 1990-го, в Доме печати, куда я заглянул на литобъединение в «Чырвоную змену», «народный слуга» И. Середич проявил этот свой талант. При том, настолько виртуозно, что поначалу я даже опешил:

«Сейчас поздороваешься, приобнимет, как бывало, а о чем говорить?» – мелькало у меня в голове. А он... прошел и «не заметил».

Конечно, речь вовсе не о моей персоне, но все же, все же, все же...

Стою на автобусной остановке, топчу грязный московский снег – «изучаю» предвыборный плакат. За кого бы я проголосовал, будучи гражданином Российской Федерации? Наверное, а лучше сказать, скорее всего, за представителя некогда нелюбимых мною коммунистов. Все-таки хоть какой-то, да был толк, порядок. Да и справедливость. Это во-первых. Во-вторых, приди они к власти, взяли бы за воротник и призвали к ответственности сегодняшних вконец обнаглевших хапуг – вчерашних «верных» коммунистов-ленинцев. А если бы к их, коммунистов, идее, в принципе христианской (отбросить богоборчество). не примазывались

всякого рода Пэзи... Хотя всякого рода Пэзи примажутся к любой идеологии, системе – только давала бы она им выгоду, служила бы кормушкой, средством легкой наживы...

Вроде и время прошло, и забылось многое, но как вспомню ту суетню-беготню перед «первыми демократическими выборами», хочется, прости, Господи, плюнуть через левое плечо да растереть, не глядя...

P.S. Иосиф Середич хотел было выдвигаться по «своему» округу на второй срок. Да не получилось. Земляки раскусили Язэпа-Пэзю и дали ему от ворот поворот.

1998

## Как я был лауреатом...

Январь 1998 года. Редакция журнала «Москва». За окнами пестрый, шумный, многоликий и многоголосый Арбат. А тут на стенах в коридоре и над столами в кабинетах – иконы, журнальные цветные иллюстрации святителей и иерархов русской православной церкви. Кабинет главного редактора Леонида Бородина. Довольно просторный и такой же скромный. Как, впрочем, всё и все в журнале «Москва». А может, кажется... Леонид Бородин вручает премии за 1997 год лучшим авторам журнала. Среди лауреатов и я, совсем неожиданно. Впервые в жизни на подобной процедуре. Хотя был уже лауреатом журнала «Неман». За 1991 год. В Минск меня тогда никто не приглашал. Не до того было. Инфляция. И, помнится, получил я что-то около ста рублей. Как раз на них можно было в общем вагоне до Минска и обратно в Минск приехать. Вот такие премии. Правда, на сей раз мне обломился... аж миллион! И это обрадовало, пожалуй, больше и Диплома лауреата, и добрых слов Бородина, и роскошного стола, и...

Опять сидел грустный, опечаленный и, как почти всегда в последние годы, хмурый: жизнь прошла мимо. За пьянкой да бедламом, зачастую мной же творимым, ничего и не заметил. А заключение, что днями сделал врач на УЗИ, и вовсе оставляло скупые надежды на какой-то мало-мальский просвет. Хотя бы в будущем. С одной почкой (правая, оказывается не функционирует), да еще с моей селезенкой-печенкой – прямая дорога в яму. И, видимо, скорая уже дорога...

Давно заметил, всё ко мне приходит с опозданием. Книги выходили, когда я их уже уставал ждать. Потому и радости в принципе не было. Пришло настоящее признание – печатает меня добрая дюжина изданий – нет читателя. Тиражи у журналов столь низкие, что страшно подумать. И вот думаешь: а нужно ли это вообще?..

Конечно, с такими мыслями следовало бы не то что отказаться от премий и гонораров, а и вообще бросить писать. Но пишу. И хожу по редакциям. Правда, уже без трепета, без робости. Как на привычную работу. Надоевшую и скучную.

И все-таки ждешь публикаций. И похвал. Не столько отзывов, сколько похвал. А это, что-то не то, что-то тревожное, что давно уже замечаю в других. И твердо считаю их больными. Именно больными, а не, как в таких случаях часто говорят, не от мира сего.

А спустя год, в январе 1999-го, в Центральном Доме культуры железнодорожников мне вручили Международную литературную премию имени Андрея Платонова, учрежденную Московской железной дорогой, Союзом писателей России и газетой «Московский железнодорожник». Сегодня это одна из самых престижных литературных премий для русских писателей. Ни о каких букерах-антибукерах, да и об официальной Госпремии России в области литературы никто из русских писателей и поэтов нынче не помышляет. Всё это для тех, кто обслуживает Кремль, московский «Белый дом», кого и дустом не вытравишь с эстрады, радио и телевидения. Я бы даже так сказал: из литераторов нынче жируют те, для кого нет никаких принципов, моральных норм и чести. Впрочем, жировали они и при советской власти. Но речь не о них.

Вместе со мной литературную премию имени А. Платонова получали прекрасный прозаик и публицист, автор нескольких десятков книг, лауреат государственной премии России и весьма престижной российско-итальянской премии «Москва-Пенне» Борис Екимов, известный тележурналист, автор многих документальных фильмов, книг, пьес для театра и телевидения, лауреат Государственной премии СССР (за фильм «Париж. Почему Маяковский?..») и Российской Федерации (за телерепортажи из Франции), премии Союза журналистов (за фильм о всемирной выставке в Монреале), член Союза писателей, профессор Георгий Зубков, лауреат Государственной премии и премии имени Константина Симонова, автор

многих популярных романов и повестей Семен Шуртаков, известный прозаик и бард Николай Шипилов...

Среди лауреатов премии имени А. Платонова были такие признанные мастера слова, как прозаики Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Крупин, Петр Проскурин, Леонид Бородин, поэты Юрий Кузнецов, Глеб Горбовский, Олег Шестинский, Борис Примеров...

Конечно же, был роскошный банкет, было много почетных гостей – людей широко известных не только в Москве, но и далеко за пределами Российской Федерации.

Председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев, поздравляя лауреатов, выразил признательность руководству Московской железной дороги и редакции газеты «Московский железнодорожник» за поддержку русской литературы, что, действительно, сегодня очень важно и даже необходимо.

Цитирую газету «Московский железнодорожник», что освещала церемонию награждения лауреатов Международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце»: «Сейчас железные дороги, пожалуй, единственная отрасль, связывающая державу воедино. И точно так же газета „Московский железнодорожник“ соединяет на своих страницах писателей не только из разных уголков России, но и из далеких государств Содружества. Причем соединяет их именем Андрея Платонова, великого русского писателя, которому в этом году исполняется 100 лет. Отрадно, что одна из премий присуждена белорусскому поэту Валерию Гришковцу. Мы еще только осторожно предлагаем коллегам из Минска объединить наши писательские союзы, а вы уже это делаете на страницах газеты».

«Тепло поздравила своего соотечественника и других обладателей дипломов и премий советник посольства республики Беларусь в Москве Регина Минаева...»

Короче говоря, и на нашей улице был праздник...

1999

## **С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ВПЕРЕД, или КАК Я ХОДИЛ В ДИССИДЕНТАХ...**

Боже, как меня заносило!..

XXX

Нет-нет и вспоминается октябрь 76-го. Ленинград, Петергоф – пригород Ленинграда, один из его районов, хотя находится от собственно города за 40 километров. Наверно, из-за знаменитого парка, дворца и фонтанов, созерцать кои съезжаются туристы со всего света и числят Петергоф в составе Ленинграда.

В Петергоф из Питера, из самого его сердца – с Васильевского острова, с берегов Невы, перенесли сюда Ленинградский университет. Тоже, без преувеличения, знаменитый, как и МГУ на весь мир. Построили целый городок – учебные корпуса, лаборатории, общежития...

Сам Суслов навевался сюда посмотреть, как идет строительство университета. Да, действительно, есть на что посмотреть: университетский городок отгрохали под стать американским и западноевропейским подобным студенческим городкам – гранит, мрамор, дорогой кирпич, роскошная облицовка. То же самое и внутри зданий.

Здесь, в общежитии университета, пятый год жила та, что вытасила меня из заштатного Пинска – жениться. Экстренно.

Кое-как наскреб денег на кольца и все прочее, что связано с «торжественным вступлением в брак». Кольца пришлось покупать с рук, сильно переплачивать. Но... было жесткое требование: явиться во что бы то ни стало с кольцами! Чтобы все – как у людей...

Из-за нелетной погоды в Ленинград я попал тремя днями позже, нежели меня тут ждали. Из аэропорта Пулково еду в Питер. Моя суженая – в Петергофе. Из Питера качу в Петергоф. Меня выглядывают в окно с шестого этажа дома по улице Коллонтай в Ленинграде. Кружили этак двое суток. Я уж хотел плюнуть на всю эту свадебно-брачную чехарду и восвояси обратиться в родной, пусть себе и заштатный, Пинск.

Эх, кабы тогда – да сегодняшней розум!..

Встретились. Поехали подавать заявление в загс. Правдами-неправдами, через подружку-депутатку моя суженая уломала заведующую Петергофского загса расписать нас вне очереди – через пять дней со дня подачи заявления.

Вторник, 6 октября 1976 года. Сырое, хмурое, осеннее утро. Ветер. Сиро и серо кругом. И на душе не лучше... С тяжелым сердцем поднимаюсь по ступенькам загса. Тяжелым голосом обреченного обращаюсь к суженой: «Гая, еще не поздно, давай свалим отсюда»...

– Что-о?! Скотина, распишись и убирайся вон!..

Вечером того же дня самолет уносил меня из мрачного и сырого, как колодец, Ленинграда в родную столицу – в Минск. А на другой день я уже был на работе в «Полесской правде». После работы, прямо в редакции, коллеги отпраздновали «счастливую перемену в моей жизни».

Я, помнится, «праздновал» и за сухую «свадьбу» в Петергофе, и за тоску в питерской квартире на улице Коллонтай, где мы уже не раз коротали наши ленинградские ночи. Пил вечерами с друзьями детства водку и вино у «десятого» магазина. Пил и думать не думал, что много, ой, как много и долго пить мне с ними на этих скамейках, в этих вот кустах, в беседках да подъездах. Пить зимой и летом, весной и осенью. Пить в радости и в горести. Глушить тоску вином. В родном, в одночасье ставшим таким неудобным, таким чужим городе...

Где ты, моя радость?..

Спустя три месяца привез в Пинск жену. Уже с «животом».

Где ты, моя радость?..

Радости как раз-то и не было. Если и была – мимолетом. А так – все больше тоска да печаль. И – вино, вино, вино...

Так и жили. Два упрянца, два себялюбца в одной берлоге, где каждому было тесно даже по отдельности. Да еще мама-теща, старая медведица, бессовестно заглядывающая и нагло сунувшаяся не свою берлогу...

И года не прошло – убрался я вон: живите! – освободил маме-теще берлогу.

И посыпались жалобы, доносы и письма, в основном анонимные в «инстанции». И потянулись сплетни, слухи. И не выдраться из этой паутины, из грязных сетей дешевых науськиваний и склок.

Вино, вино... Друзья. Знакомые. Просто собутыльники. Я пил. Я спивался. Но все же, что-то и удерживало меня. На самом краю. Любовь к литературе, к поэзии? Слово, что жило, бродило, клокотало в сердце моем? А может, молитвы матери? Поддержка – словом и делом хороших людей?..

Да, я много пил. Может, потому и не стал подлецом, негодяем...

Тогда же, летом 1978-го написал стихотворение «В минуту откровения». Его никто не брался печатать. Но все же, в первую книгу мне удалось его включить:

*Обо мне уж так судачили, рядили,  
Меня хаяли, чернили и рябили.  
Но меня еще за что-то и любили,  
И такие, знаю, тоже люди были.  
Вдруг уеду я, потом опять приеду.  
По весну вдруг загрущу, а то по лету.  
Наплевал давно на суды-пересуды, —  
Счастья мало от того, что бьют посуду...  
И меня когда-то били – не убили.  
Вот такие, братцы, были со мной были.*

Нет, на суды-пересуды мне даже теперь, прожив почти полвека, не получается наплевать. Я их жутко боюсь, судов-пересудов. Особенно после сильного перепооя. Идешь – голову боязно поднимать, в глаза людям смотреть не вмоготу. А тогда – и подавно. Вот и хлестал «бормотуху». Уж она-то, поганая, вливалась в нутро и веру в себя, и смелость, и уверенность. Правда, ненадолго. В этом-то, эх, знать бы тогда, именно в этом вся каверза, все зло, вся беда, что скрывает в себе вино и пьянство – самообман. Глупый и уничтожающий, мимолетный мираж самообмана. Приходит, неумолимо наступает похмелье. Тревожное поначалу. Страшное – потом. Трагичное – еще некоторое время спустя. Горе, беду, смерть не обманешь...

А сколько низости, сколько позора волочишь за собой, прежде чем дойдешь до могилы? Собственной могилы...

Господи, надоумь, останови пьющего!.. Помоги, всели в него надежду на спасение, разум – на постижение иной, истинно светлой – трезвой стороны жизни.

Человек, не плюй в сторону несчастного. Это твой отец, твой брат, твой сын. Или мать, сестра, дочь... Может быть, это ты сам – завтра...

Как хотелось (и хочется) быть честным, справедливым, не иметь долгов...

Жизнь продолжалась. Жизнь продолжается.

Как много я встретил хороших людей... И встречаю теперь.

Сколько красивых, порядочных женщин, не скрывая интереса, смотрели на меня...

Может, смотрят и теперь..

Сколько добрых людей подавали мне руку... Спасибо им, подают и теперь.

Сколько было у меня друзей умных, талантливых, надежных...

Слава Богу, они есть у меня и сегодня.

Не потому ли до сих пор все еще пишутся стихи?..

Жизнь продолжается. И пусть иногда заносит меня и теперь, все же ничего подобного с историей, что приключилась со мной двадцать лет назад, не повторяется. Да и время уже другое. Другой, наверное, и я. Другими стали и те, кто так или иначе был замешан, либо посвящен в ту мою «историю». Иных и на белом свете уже нет. Мир их праху, зла на них я не держу. Но – обо всем по порядку.

XXX

Итак, 1976—1980 годы. Вспоминаю и не знаю, плакать мне или смеяться. Хотя и потом со мной чего только не бывало, куда я только не попадал, во что не вступал, в какие горести-беды не вгоняла меня глупая моя судьба...

Вот уж воистину: из-за дурной головы... нет, речь вовсе не про ноги непутевые пойдет.

Тема эта, а точнее – то мое житейское приключение все не давало и не давало мне покоя. Я не раз и не два подступался к ней, даже в художественной форме пытался что-то крапать, рассказ там, либо повесть. Но все что-то не шло, не выходило так, как хотелось бы.

А недавно дошел даже до того, что специально поехал из Москвы в Минск, в издательство «Мастацкая літаратура» и напрямик к его директору писателю Георгию Марчуку.

– Георгий, – говорю ему, – выручай.

Мы земляки, давние знакомые. Георгий Марчук известный писатель, драматург, сценарист, по его роману «Цветы провинции» в Пинске снимался художественный фильм. Сам же писатель, если быть точным, родом из Давид-Городка. Но когда ты живешь в Москве, любой белорусский город, любое местечко кажутся родными, а тут Давид-Городок – сто верст от Пинска...

– Что случилось, новый сборник привез?

– Нет, в конце 1979 года, в ноябре или декабре, точно не помню, на меня в ваше издательство анонимка поступила. В 1980-ом у меня должна была выходить первая книга стихов. Но нашелся «доброжелатель» и преподнес мне «подарок» – анонимку в издательство, копию – в ЦК КПБ.

– Э, брат, наши архивы, можно сказать, по ветру понесло: за эти двадцать лет мы двадцать раз переезжали из кабинета в кабинет, уплотнялись, ужимались, не до анонимок было.

– Жаль, для меня это вопрос чести, описать те мои метания, боли-страдания, надежды да ожидания.

– А ты, – говорит Георгий Марчук, – дуй напрямик в национальный архив Республики Беларусь. Теперь там все цековские бумаги хранятся. Пиши заявление – разберутся.

В тот день в архив я не поехал. Решил поступить, как мне показалось, хитрее: написал официальный запрос, мол, так и так, было тогда-то на такого-то такое-то письмо.

Спустя недели две-три приходит ответ: «Уважаемый Валерий Федорович! Сообщаем, что в находившихся на хранении архива документах ЦК КПБ за 1979—1980 г.г. сведений по интересующему Вас вопросу не имеется».

Я снова отложил свой «мемуар» до лучших времен. Но как-то летом, гуляя в районе, где прошли детство, юность и молодость, и «счастливые дни первой большой любви» вспомнил, как была подписана та злосчастная анонимка. А подписана она была так: «Подруга бывшей жены».

И двинул я домой. И давай перерывать свой личный архив, искать записи, что делал я по горячим следам, что пытался потом писать в художественно-документальной форме. Кое-что нашел.

Из этого «кое-что» выбираю кое-что и леплю повествование о случае, который чуть было окончательно не поломал мою жизнь. А то, что тот давний случай сыграл в моей судьбе роковую роль, судить можно лишь по такому эпизоду. После той анонимки у меня долго не то, что

не издавали книгу, но и совсем не печатали стихов. Более того, мне пришлось под конвоем участкового отбыть, как тогда говорили, «на озеро» – в местную «психушку»...

И было мне от роду двадцать пять годков. Только что, можно сказать, отслужил в армии. Женился-развелся и по многочисленным «хождениям» бывшей жены да тещи по самым высоким пинским кабинетам я оставил редакцию «Полесской правды». А уж там сдуру бросил журфак БГУ и подался к родной братве. Благо, она кучковалась у «десятого» магазина. Я жил неподалеку, если не сказать, совсем рядом. Тут же жила и моя недавняя «ненаглядная» со своей не в меру активной мамой.

Но вернемся к анонимке, точнее, к ее содержанию. Познакомили меня с ним сперва в Пинском горкоме КПБ, а потом – тогдашний директор издательства «Мастацкая літаратура». В нем вот-вот должна была выходить моя первая книга стихов. Из-за нее-то и разгорелся весь сыр-бор. Тогда автор книги, даже самой маленькой, самой незначительной и незаметной, становился как бы на виду, вроде индульгенцию от власть придержащих получал. И не только от них. Ну и, конечно, деньги. По тем временам не малые.

Все это и не давало покоя «Подруге бывшей жены».

Директором издательства «Мастацкая літаратура» в те годы был довольно милый человек – Михаил Дубинецкий. Как я потом узнал, не одного писателя и поэта если не спас, то по крайней мере, выручил он в трудную минуту жизни. Но тут случай особый: один экземпляр, как было сказано в послании «Подруги бывшей жены», ушел не куда-нибудь, а напрямик в ЦК КПБ! А ЦеКа партии в Советском Союзе был, что называется, и бог, и царь, и воинский начальник...

Директор издательства Михаил Дубинецкий встретил меня, изрядно помятого и перепуганного, куда как приветливо. Он, скорее всего, поначалу решил, что из провинции явился очередной бедолага-литератор с известной просьбой: поскорее издать книгу. Обычно первую...

Я представился. Его лицо еще более потеплело. Он-то, думаю, хорошо знал, сколько молодых поэтов в подобных случаях сгубили себя пьянкой, а то и прости, Господи, наложили на себя руки.

Я не долго морочил собой директора «Мастацкай літаратуры», да и вообще, как помнится, не морочил и не шибко-то задерживался, как мне тогда казалось, высоком кабинете. Попросил посмотреть письмо, содержание которого уже знал. Из ЦеКа его, как тогда выражались, спустили в Пинский горком КПБ.

В родном горкоме я уже был. Сразу после «прогулки на озёра». Письмо в горкоме партии мне зачитали, но показать не показали, и вообще, сказали, не твое это дело, кто, мол, написал, факты-то подтверждаются, изложены правильно...

Но и Михаил Дубинецкий, царство ему небесное, письмо мне не показал: не положено! Так у нас заботились, да, наверное, и заботятся о «доброжелателях».

Содержание того письма было примерно следующее: «Вы собираетесь издавать книгу стихов В. Ф. Гришковца. Но это полностью деградированная личность. Он беспробудно пьет, бросил жену, мою подругу, и малолетнего ребенка. В. Гришковец не просто пьяница и аморальная личность, он отъявленный антисоветчик. Когда В. Гришковец напивается, на каждом углу кричит: „Вот придут из-за Буга наши, будем коммунистов на столбах вешать!“ Разберитесь, пожалуйста, и ни в коем случае не издавайте книгу этого отщепенца».

В Советском Союзе с подобной репутацией была одна дорога. Точнее две – в сумасшедший дом и в места, называемые в народе не столь отдаленными. К тому же, три года назад, работая в «Полесской правде», я наотрез отказался сотрудничать с КГБ. Они долго ходили за мной, уламывали, сулили помощь. Наверняка, и теперь «ходят». Особенно, после письма в ЦК.

Но это меня, скажу честно, тогда пугало мало. Меня пугало, угнетало другое: не видать мне книжки!.. Хуже того, вообще печатать перестанут. Для меня же писание стихов было **ВСЁ**. И цель жизни, и главная мечта.

– Ты только не горячись, – наставлял меня Михаил Дубинецкий, – ни с кем не выясняй отношений, никому ничего не доказывай. Что это за «Подруга бывшей жены» – ясно. – Он смотрел на меня из-за очков усталыми глазами и, помнится, много курил. – Езжай домой, устраивайся на работу и, самое главное, ни грамма в рот! Всё утихнет, всё уляжется и, верь мне, будет у тебя еще не одна книга...

Спустя годы я узнал: Михаил Дубинецкий был свой, пинский, из деревни Остров. Может, это также сыграло свою роль. Правда, с ним, спустя года три, я еще раз виделся. Он тепло поздоровался, спросил про дела, про жизнь. Больше я к нему не подходил, а зря, надо было поблагодарить – за добрые слова, за поддержку.

А в тот день я брел по слякотному Минску, не видя света. Ни перед собой, ни впереди. Как мне хотелось напиться... Забыть всё, плюнуть на всё, уехать куда-нибудь к морю-океану, да хоть к черту на рога!..

Я и жил в те годы мечтой: вот выйдет книжка, получу гонорар и... брошу, оставлю навсегда дыру, тянущую меня на дно. Дыра – это, конечно, Пинск. Мой родной, мой любимый, а теперь ненавистный, опостылевший город.

В то время, помнится, мы ждали квартиру. Это тоже держало меня в Пинске: лишняя комната...

Уволили меня после «озера» и из местного речфлота. Последний, за неимением ничего лучшего, подбирал даже конченных алкашей и прочий наезжий в Пинск сброд. Как сейчас сказали бы, бомжей. А вот меня «турнули». Без особых выволочек, но и проволочек. Уволили «по собственному желанию». И на том спасибо.

А город, родной город готовился к Первомаю. У «десятого» магазина, вокруг которого мы обычно собирались, на крыше биомедицинского завода, что угнездился в стенах бывшей тюрьмы, грели веселье, почти в метр высотой буквы-лампочки: «Слава труду!». Вот тебе и слава...

В магазине и у магазина – огромные очереди: «дают» дешевую колбасу, не по многу, но всё же. А главное – по литровой банке болгарских томатов.

С расчетных я оставил себе «червонец», 10 рублей с гордо глядящим Лениным. Большие деньги! На праздник, завтра – Первомай.

Я долго раздумывал: потратить ли мне «пятерку» на банку так аппетитно смотревшихся болгарских томатов? И купил банку томатов. Не вина, не водки – томатов...

Со мной давненько такого не бывало.

Мимо меня проходил сосед, батя одного из нашей братвы. Поздоровались. Сосед кивнул на очередь: очередь недовольно шумела, гудела.

– Ничего, – сказал мне сосед, – завтра будут дружно кричать «Ура!».

На следующий день с утра, еще до демонстрации, пошел я к площади Ленина. Там в старой хрущевке жил мой приятель Котя.

– А, Валера, – встретил меня отец Коти, Владимир Владимирович, – проходи, проходи, будем вместе отмечать праздник весны и труда! – Он сильно грассировал, был уже не молод, но все еще довольно красивый. – Котьки нет, не ночевал. Празднует...

В голосе его слышалась откровенная ирония. Владимир Владимирович последние годы много пил. С годами всё больше ненавидел Советскую власть. Он всегда её ненавидел. Правда, до пенсии, – тихо, а теперь, особенно на подпитии. Свои чувства выражал довольно бурно. Был он сыном белогвардейского офицера. До 39-го года жили в Бресте. В суматохе «освобождения», – как говорил Владимир Владимирович, – отец его умудрился выжить, не попасть в руки большевикам. Может быть, с польскими частями ушел в Румынию? А может, воевал

в армии генерала Андерса? Я, даже не знаю почему, ни разу не спросил Владимира Владимировича о судьбе его отца, о том, как они расстались, а точнее – потерялись в то страшное время. Владимир Владимирович много раз рассказывал о героическом пути армии генерала Андерса, об итальянском форте Монте-Кассино. Эту крепость долго штурмовали англо-американские войска, но так и не взяли. А вот поляки из армии генерала Андерса взяли, отбили у немцев и тем самым открыли англо-американским войскам путь в Италию.

Владимир Владимирович свято любил **ТУ** Польшу, хотя по крови был русским. Он всегда противопоставлял ее Союзу, Советам. И чем дольше жил, тем больше, яростнее противопоставлял.

После войны отец Владимира Владимировича жил в Америке – в США. А Владимир Владимирович «косил» сибирскую тайгу. Об этом он также любил поговорить. А еще любил показывать фотографии отца, присланные ему из Штатов. Цветные, яркие. У нас таких тогда и в помине не было. На них отец Владимира Владимировича был изображен на фоне своего дома в саду. Таких домов и садов у нас. Дело ясное, тоже не было. Да как-то и не верилось. Что у простого человека может быть такой дом и сад.

А еще Владимир Владимирович рассказывал, как призывников и з западных областей Беларуси и Украины, совершенно необстрелянных бойцов, в январе 45-го бросили на штурм Варшавы. Висла и ее берега были красными от крови.

Владимир Владимирович, несмотря на довольно раннее время, был уже на подпитии. А на столе, прямо в зале, стояли начатая бутылка вина, стакан, какая-то нехитрая еда. Владимир Владимирович знал о моей драме, да и не один раз мы с ним выпивали, потому сразу пошел на кухню, принес еще один стакан.

– Садись, будем праздновать! – гассировал Владимир Владимирович, наливая вино в стаканы. Он вообще был хлебосольным, любил компанию. Особенно людей близких, знакомых. Любил он и нас, Котыкиных друзей.

От вина я отказался. Дабы сегодня не напиться, я и оставшуюся «пятерку» с собой не взял. Да и к Коте пошел нынче лишь потому, чтобы там, у «десятого» магазина, не напиться с братвой. Пили мы по любому поводу. Пили и без повода.

– Ну-ну, тебе нельзя. Тебя вылечили, – иронизировал Владимир Владимирович. – А я себе позволю. За праздник! Весны и труда!.

И Владимир Владимирович в презрении скривил губы.

Из окна его квартиры хорошо просматривалось начало улицы Брестской, известный всем пинчанам «Серп и Молот».

Гремела музыка. За окном шли, втекая на площадь, колонны демонстрантов. Владимир Владимирович сидел, откинувшись на спинку стула, смотрел в окно. К вину пока больше не прикасался. Молчал. О чем-то думал и молчал.

Я же смотрел не только в окно, все это давно мне, как, впрочем, и всем было знакомо. Я смотрел на Владимира Владимировича. Я ждал и не ждал Котю. Мне просто не хотелось на улицу, в толпу. В веселую толпу.

И тут Владимир Владимирович взял мой стакан, в нем было вино. Посмотрел еще раз в окно, потом на меня, и выдал такое, что я до сих пор забыть не могу. Наверно, еще и поэтому я так ясно запомнил тот день «праздника весны и труда»:

С красным знаменем вперед

Очумелый прет народ.

Это так пришлось к месту, так соответствовало моменту, моему тогдашнему настроению, состоянию души...

И громко, слегка давясь, Владимир Владимирович выпил вино. Посмотрел на меня:

– Ты еще так не пишешь?

– Можно, а что толку?

– Правильно. И не пиши. Не то совсем хребет переломают. – Владимир Владимирович показал на окно. – После праздников иди к ним, пусть дают работу. А то взяли моду, чуть что – за воротник и...

– Ладно, Владимир Владимирович, не волнуйтесь, погода хорошая, день большой, вина будет много.

– Да-а. Вина будет много... – И в упор посмотрел на меня.

Помолчали.

– У них ничего больше и нет! Еще флаги да транспаранты с лозунгами и призывами. А вообще, я тебе скажу, это – агония. – Владимир Владимирович повернулся ко мне вполоборота и большим пальцем показал через плечо в окно. – Советская власть переживает агонию. Я недавно выпивал с офицерами. Вот за этим столом. Они про Брежнева и про Советскую власть такие анекдоты рассказывали – уши горели. Если бы я не знал этих ребят, подумал бы: провокаторы. И все так искренне хохотали...

– Теперь такие анекдоты даже дети друг другу рассказывают.

– Это и есть первый признак скорого краха Советов.

– Да бросьте, Владимир Владимирович. Что-то сильно затянулась их агония.

– Не знаю, как я, а ты еще доживешь до того дня, когда погуляешь на поминках по Советской власти...

XXX

Эх, Владимир Владимирович, жаль, не дожили вы. Совсем немного. А на поминках по советской власти больше других резвились как раз недавние партийцы. И даже члены Политбюро ЦК КПСС. Правда, уже под другими знаменами и лозунгами. Но все также, в пух и прах надув своих сограждан, пустив многих по миру, а то и натравив друг на друга в кровавой бойне...

XXX

– Владимир Владимирович, а знаете, какой был первый материал, что написал я в газету, став штатным сотрудником «Полесской правды»?

Владимир Владимирович выпустил струйку дыма и вопросительно посмотрел на меня.

– Пришел я в редакцию 24 февраля 76-го года. Редактор меня спрашивает: «Рассчитался окончательно?» – Я до этого работал на КВТ электриком. Я кивнул. – «Пиши заявление. И запомни: ты стал профессиональным журналистом в памятный день – сегодня торжественное открытие XXV съезда КПСС».

– У них до сих пор это считается праздником? Вот так липа...

– Да нет, редактор, по-моему, неплохой человек. Ничего лишнего не требовал. Ценил талант, умение работать. Да, так вот – работать. Первое мое редакционное задание меня слегка обескуражило. Нет, оно было простое, как пареная репа. И вместе с тем, как мне тут же заметили, очень ответственное: подготовить отклики трудящихся на речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXV съезде партии. Дали мне подшивку «Правды». Там такие «отклики» на любое выступление Леонида Ильича шли косяками. Я раньше на них не обращал внимания, да, признаться, «Правду» я почти никогда не читал. Но предупредили: прежде, чем писать, созвонись с «авторами». И тут же предложили с десятков кандидатур: каменщики, слесари, доярки, полеводы, трактористы, звеньевые, бригадиры. Никакого руководства, даже начальства. Короче говоря, рядовые члены КПСС. Но, якобы, активные коммунисты с мест.

– Старая песенка: централизм! Единство «низов» и «верхов». Так и барахтаемся. Леонида Ильича горячо, всем сердцем поддерживаем и одобряем, а Сахарова и Солженицына гневно, с рабоче-крестьянским сознанием и негодованием осуждаем и клеймим позором...

И Владимир Владимирович, как всегда в таких случаях, криво усмехнулся.

– Валера, я шестнадцатилетний дурак, в 37 году в Бресте на первое мая, наслушавшись московского радио, в окно вывесил красное знамя. Смастерил накануне и вывесил. Родители

ничего не видели. Вдруг стук в дверь. Входит полицейский. И к отцу по-польски: так, мол, и так. Он знал, кто был мой отец. Мать переполошилась. Скорее рвать это знамя. Ну, отец дал мне подзатыльник, пригласил полицейского на рюмку. Тот отказался. А вот закурить у отца закурил. Отец курил хорошие папиросы.

Владимир Владимирович замолчал, смотрел в окно. Там все также гремела музыка, колыхались знамена, транспаранты, шли люди.

– А вот представь себе, если бы мы с тобой сейчас высунули в окно флаг Соединенных Штатов? А если бы в тридцать седьмом, в Москве там. Или в какой-нибудь Рязани-Казани?..

– Владимир Владимирович, когда-то в четвертом классе на день пионерии мы, четверо друзей, не на пионерский сбор в школу, а на сбор костей к мясокомбинату пошли. Мешок прихватил я, он у нас до сих пор в сарае лежит, износу ему нет. Немецкий мешок, со времен войны остался. Огромный, почти в наш рост. Одна беда: с обеих сторон на том мешке – фашистская свастика. Набили мы его костями и по очереди прем, животы надрываем, от мясокомбината на улицу Полесску, заготларек. Кости принимали по 6 копеек за килограмм. Нам, пацанве рабоче-крестьянской, тоже хотелось и мороженого, и покурить, и в кино сходить. Родители же нам деньги почти не давали. Так, копеек десять-двадцать. Сами едва концы с концами сводили. Вот и промышляли мы сбором костей, тряпья. Несем мы тот мешок, да посмеиваемся: как ни клади его, как ни верти, а свастика – вот она. А навстречу нам – одноклассники-одноклассницы с пионерского сбора шагают. Утром, только звонок прозвенел, всех нас четверых в учительскую, к директору школы. Так, мол, и так, голубчики, почему на пионерском сборе не были. Кости собирали? Где, когда, зачем? – «Сдали в заготларек». – «А где мешок такой взяли?» Стоим, молчим, головы не поднимаем. – «Так все-таки, где вы взяли мешок?» И тут не выдержала наша учительница, даже имя ее вспоминать не хочется, выскочка была. – «Такой мешок только у Гришковца может быть!» Как будто Гришковцы фашисты. Гришковцы от фашистов пострадали не меньше других. Той, моей учительницы – точно. Слава Богу, спустя две недели мы с ней навсегда расстались.

Владимир Владимирович долго молчал, а потом не спеша, с растяжкой слов, да с приятной картавинкой:

– Это до какого иезуитства дойти надо: повесят ребенку на шею кусок красной тряпки и служи им верой и правдой! За кусок тряпки.

– Владимир Владимирович, так и служил же. И в армии был. Вперед не лез, но и за чужие спины не прятался.

– Нет, дружок, ты не захотел служить. Ты захотел выбиться из стада. Самовольно выбиться. Или того хуже: захотел жить в стаде, но ходить независимо от стада. Этого тебе в нашем стаде никто и никогда не позволит! Помнишь, что их главный вождь сказал? Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя! Это, Валера, их наипервейшая заповедь. А теперь ты у них на крючке, – продолжал Владимир Владимирович, – а раз попался на крючок – до конца дней не отпустят. По себе знаю.

Мы еще долго сидели с Владимиром Владимировичем. Говорили о многом. Я по его просьбе принес еще бутылку вина. Он не спеша пил и бесконечно курил.

Через день, как и советовал мне Владимир Владимирович, я пошел в горком за помощью в трудоустройстве. Все в тот же кабинет, куда недавно спустили из ЦК КПБ письмо «Подруги бывшей жены».

– Ну-ну, проходи, проходи. – Встретили меня, словно ждали с минуты на минуту. – Нет-нет, садиться мы тебе не позволим. Постоишь! Не заслуживаешь ты даже такого права, как присесть у нас. До чего докатился. Ты нас заставил краснеть перед ЦК! Кого это ты собирался вешать на столбах, не нас ли с А. Ф.? (По этическим соображениям оставляю за собой право называть инициалы).

Пел давнюю песню горкомовец Н. Н. Я уж думал за праздничной сутолокой, да и прошло почти полгода, они подзабыли, отмякли. Где там?

– Мы тебе доверяли, в газете работал, печатался, вот-вот и книжку бы выпустил.

– Да что с ним говорить, А. Ф.? Гнать его в шею! – Не унимался Н. Н. – Он, видите ли, нас на столбах будет вешать. Мы тебе скоренько роги завернем.

«Такого, как ты, не всякий столб выдержит», – так и зудело мне сказать толстозадому Н. Н. Ноя уже хотел одного: поскорее смыться из этого кабинета.

– Ладно, Н. Н., снова вмещался А. Ф., – что с него, алкоголика, возьмешь? – И уже непосредственно ко мне. – Ты вот что, если, конечно, хочешь, чтобы мы разрешили тебе снова печататься и тем более издать книгу. Во-первых, – и тут, как бы одумавшись, А. Ф. снова спросил, а ты совсем вылечился, до конца?

Я молча и решительно, как на допросе, смотрел, не отводя взгляд, вперед себя, мимо А. Ф.

– Во-первых, – продолжал как ни в чем не бывало А. Ф., – ты должен устроиться на работу. Допустим, на завод КПАЛ. Туда, кстати, требуются рабочие. Во-вторых, – занервничал А. Ф., – ты должен добиться права работать в бригаде коммунистического труда. – Поднял указательный перст к потолку А.Ф.– Понятное дело, так просто тебя в бригаду коммунистического труда никто не допустит. Желających много, заслужить надо. Ударным трудом, И вот когда через год, через два добьешься права работать в бригаде комтруда, а потом лично удостоишься звания ударника коммунистического труда, тогда на тебя и обратят внимание. Настоящее внимание, коммунистическое. Тогда мы сами позовем тебя сюда, позвоним в Минск и будем просить, добиваться, чтобы выпустили твою книгу. И тогда, уверен, стихи у тебя появятся не про какие-то шуры-муры, а настоящие рабочие стихи!

Я еще минуту-другую послушал ударную речь, в принципе хорошего, но изрядно подпорченного партийной карьерой человека, каким был А.Ф., повернулся, и уже на выходе из просторного, как конюшня, кабинета, как бы невзначай, обронил:

– Я сам найду, где мне печататься, где издаваться.

– Что-о?!.. Что ты сказал?! – чуть ли не вместе завопили партийные начальники.

– Ничего такого. На Минске свет клином не сошелся.

– Ну-ну, мы это посмотрим...

Ничего особенного партийные начальники, как теперь известно, не видели, да, собственно, и увидеть не могли. Ничего такого и я, разумеется. Им не показал, да и не собирался показать. Я просто жил. Конечно, я хотел жить гораздо лучше. Хотел печататься, издаваться, получать гонорары, носить добротные, модные шмотки, ездить по свету, но... Но... на работу пока никуда не принимали, денег не то что на приличные вещи – на самое необходимое не было. Короче говоря, хоть по миру с сумой.

По миру я, дело прошлое, не пошел. Хотя «стрелять» на вино иной раз приходилось. Благо, в родном Пинске меня всякая собака знала. А многие, скажу не без гордости. Почитали за честь пропустить со мной стаканчик-другой «бормотухи». Да родственников у меня в Пинске – чуть ли не на каждой улице. Словом, пропасть не давали.

А милиция!.. Не успеешь чихнуть громче ими предписанного – участковый тут как тут. Попробуй не рассчитаться вовремя за вытрезвитель, куда тянули таких как я, за одну рожу звание: алкоголик! Как прилепили ярлык «алкаша» – век не отмоешься! Хоть рожу под наждак подставляй...

Выйдешь, бывало, в центр, заглянешь в винно-водочную лавку – прямо из очереди, не дав купить бутылку, не то что выпить даже, тянут за «микитки» в каталажку. А если еще не трудоустроен...

Короче говоря, пошел я трудоустраиваться. Пошел и пошел. И день, и два, и месяц хожу: никому не нужен такой. От своих, мол, пьяниц не можем избавиться. Ну а «коммунистические

ударники», не то что в свою артель не брали, а бежали от меня, что черт от ладана. Такие правильные люди были – даже не верится. Теперь они все в «демократах», в бизнесменах, да в разных конторах-шарашках вспоминают-бают, как туго им жилось при коммунистах, на каждом углу режут, как боролись с «красным дьяволом» – КПСС...

И приютил меня Пинский химкомбинат. Осчастливил стать грузчиком. «Химичили» там ватники для мягкой мебели, какие-то смесители-красители, олифу и... денатурат.

Хорошо помню, как впервые вошел в склад готовой продукции, а справа, в углу – гора ящиков с денатуратом. В полутемном складе он был каким-то иссиня-черным, да еще эти химкомбинатовские ящики, бурые от времени и дождей.

– Во, Паэт, сколько кайфа! – Хлопнул меня по плечу кто-то из собригадников. – Держи контакт с Марией (кладовщицей), завсегда с похмела выручит. – И мой напарник сыто засмеялся.

Из этого склада и в это склад не одна и не две, десятки тонн разного груза перекочевало на моем пупку, на моем горбу. Был я молод, довольно крепок и, конечно, все терпелось, и такая работа не особо мучила. Мучило другое: кто же написал тот пасквиль в, тот гнусный донос, а точнее – клевету в издательство и в ЦК КПБ?..

Где-то в середине лета в комбинатовском тупике мы загружали вагон ватниками. Ближе к концу смены, когда уже набили добрую половину вагона, на площадке появился незнакомый нам. Шустрый, ладно одетый молодой человек. Услышав свою фамилию, я вышел на свободную середину вагона к распахнутым дверям. В них-то нам из грузовика и закидывали ватники наши собригадники. А мы уже их укладывали в вагон. Укладывали плотно, почти трамбуя, чтобы больше вошло. Работа, скажу непосвященным, сколь на первый взгляд простая, столь и трудная, тяжелая работа, пыльная, требующая напряжения сил, сноровки, терпения, выносливости. Особенно – если накануне переберешь. А в нашей бригаде этим как раз все и грешили. Так что работали зло. С подначкой. Ну, а не опохмелясь – с матюками, друг друга подгоняя, иной раз и пинками...

– Я Гришковец. В чем дело? – спросил я незнакомца.

Он сразу же, что называется, решил брать быка за рога:

– Почему не платите взносы?

– Как не плачу? Рая (профорг комбината) прямо с зарплаты удерживает.

– При чем тут профорг? – набычился незнакомец. – Комсомольские взносы! Я ваш комсорг.

За моей спиной грохнул смех, да такой, что незванный комсорг как-то сразу сник, залился краской.

– Ну, паэт, так ты еще у нас и комсомолец?!

И по вагону снова покатился смех, еще больший и громкий.

– Какие взносы, браток? – это собригадники уже наседали на комсорга. – Да мы и сами пропьем! Не волнуйся, не хуже тебя с твоим вэлкаэсэмом.

И уже ко мне:

– Паэт, с получки – под тополя! И никаких в «завязке». Пьем за родную Советскую власть, партию и комсомол. Вперед – к победе коммунизма!

И снова – смех и хохот. Кто-то крыл матюгами комсорга, кто-то вдогонку кричал ему «сука» и «дармоед», «а ну, комсюк, полезай в вагон, узнай, как взносы достаются!».

И долго еще в тот теплый день и даже после подкальвали меня моим комсомольским прошлым и все поучали: брось, мол, ерепениться, сопли душевные в «столбик» размазывать. Иди в комсорги да взносы «стреляй». Лучше заработка нету, всегда свежая копейка в кармане будет...

Так, побыв в комсомоле что-то около пяти годов, с армейского лета 73-го по январь 78-го, когда меня турнули из редакции, я навсегда расстался с комсомолами-партиями. Меня и по сей

час в них калачом не заманишь. Потом, вспоминая эту нелепицу с комбинатовским комсоргом и комсомольскими взносами, я все задавался вопросами: «Что же они меня раньше не хватились? Прошло уже больше двух лет, как я болтался по разным шарагам, пил напропалую, было, что и рукой на себя махнул, мол, пропадать, – так с музыкой! Хоть с похоронной, но все же с музыкой. А тут – явление комсорга...

Потом, по прошествии не одного и не двух лет, я-то понял, по чьей команде и почему тогда на погрузочной площадке Пинского химкомбината «нарисовался» тот комсомольский мальчик...

В то же лето 1980-го моя бывшая жена снов стала женой. Я этому очень обрадовался, а еще больше тому, что вскоре она на совсем укатила из Пинска.

Ну, а осенью меня ждала еще большая радость. Наверное, самая большая, какая была у меня в жизни. Из издательства позвонили в «Полесскую правду» (у меня тогда не было телефона, я жил все еще в частном доме и таких, как мы, телефонами не баловали) и попросили передать мне, чтобы я приезжал получать аванс за свою первую книгу стихов. Признаюсь, поначалу я даже не поверил. Все было так неожиданно.

Как я узнал уже в издательстве, это редактор и поэт Хведор Черня, теперь многими неблагодарно забытый, уговорил Сергея Законникова, бывшего тогда завсектором печати отдела идеологии и пропаганды ЦК КПБ разрешить издать мою книгу. Спустя полгода, книга вышла. А еще спустя три месяца, я летел в Красноярск. А дальше поездом – под Усть-Илимск. Там, в геологоразведкеработал начальником мой большой друг В. У него уже с полгода по моей рекомендации отирался и Котя. Вот я катил к ним, ибо не хотел подводить своих минских покровителей. Был уговор: если что – за пределы Белоруссии.

Из Минска до Красноярска, помнится, восемь часов лету. Так что, слово свое я сдержал. Правда, улетел я еще по одной причине. Но об этом когда-нибудь в другой раз.

Может быть...

2000

## Выхожу один я на дорогу...

А навстречу – люди, автомобили, а вокруг витрины, афиши, магазины, рестораны, горы и утесы из кирпича и железобетона – офисы, конторы, прочие присутственные места, человеческие жилища...

Лица, лица, лица... Спины, плечи... Голоса, стук каблучков и шарканье подошв... Смех, возгласы, вскрики...

И машины, машины... Бесконечный поток машин – туда и обратно. Мир, кажется, сдвинулся с места, пошел, побежал, поехал... Чтоб уже никогда не остановиться.

И где-то в этой толпе, в этом потоке людей и машин, среди каменных громад – человек, маленький, незаметный, ничем особым не отличающийся от других. Это он так, для успокоения обманывает самого себя, мол, человек – это звучит гордо, человек – это...

Выхожу один я на дорогу...

Вышел. Иду. Вокруг многомиллионный город. Я люблю его, я его ненавижу, я боюсь его... Этот город, совсем неожиданно для меня, десять лет тому назад стал моим прибежищем, пристанищем на моем, порой и мне самому непонятном пути – жизненном, литературном.

*Я вышел из мрака. Ранимый,*

*Больной и голодный душой.*

*Но шел же я, кем-то хранимый,*

*По этой земле и чужой.*

Кто же хранил меня все эти годы, что я иду, что прошел уже по земле? А это без малого – пятьдесят лет. Не хухры-мухры – пятьдесят лет прожить, полвека!..

Чего только не было за эти полвека... Вспоминать страшно.

И сколько тех, кто шел со мной рядом, с кем шагал я бок о бок, уже там, откуда обратной дороги нет?..

Эх, годы-годы, жизнь-жестянка!..

И рука невольно тянется к перу, перо – к бумаге. Совсем, как у Пушкина. Правда, перечитывать великих, а порой и просто читать – некогда, а точнее – недосуг. Втянулся в гонку, бесконечную, неостановимую гонку. Остановка – смерть.

А может, это и есть уже смерть, если некогда остановиться, оглянуться, подумать: куда я, зачем? И разве не смерть душе, когда не находишь времени для великих книг? «Библия», Гомер, Шекспир, Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, Бунин... Когда последний раз я брал их в руки?

Выхожу один я на дорогу...

С книгой, согласитесь, было бы легче. С великой книгой. Не с теми, что нынче в ходу, что нам советуют читать разного пошиба социологи-психологи и прочие шарлатаны, имя коим – Легион. И авторы всех этих книг, разумеется, из того же рода-племени.

Но вот на Тверской, не доходя до Кремля, поднимаю взгляд и мне в глаза тепло и доверчиво, скромно склонив голову, смотрит Александр Сергеевич Пушкин. Я останавливаюсь, кланяюсь Поэту и присаживаюсь на скамейку рядом.

Посидел, поговорил мысленно с гением, – сердце оттаяло, стало светлее на душе, стало не так одиноко, и не таким уж трудным показался путь. И двинул дальше, не в сторону Кремля, а на Тверской бульвар, мимо Литературного института, снял кепку, посмотрел на знакомые окна Дома Герцена, на памятник мыслителю мятежного русского духа. Здесь два года я слушал лекции на Высших литературных курсах, обрел много друзей, обрел уверенность в правильности выбора пути. Спасибо, Дом Герцена, ты закалил меня, дал силу моему слову. А вот и Сергей Есенин, слегка склонив на бок курчавую голову, выходит мне навстречу. Он тоже любил

побродить по Тверскому бульвару и также в мыслях своих не однажды обращался к великому предшественнику – Пушкину:

*Мечтая о могучем даре  
Того, кто русской стал судьбой,  
Стою я на Тверском бульваре,  
Стою и говорю с собой...*

Иду дальше. У Никитских ворот сворачиваю направо, к храму Большое Вознесение. В этом храме Александр Пушкин венчался с первой красавицей Москвы Натальей Гончаровой. В этом же храме год с небольшим тому венчался мой друг поэт Федор Черепанов с юной поэтессой Анастасией Поведской. Я и сам захожу в этот храм помолиться, отдохнуть душой и телом от суетной московской жизни. Выхожу из храма и прямо напротив выхода сидит, развалившись в кресле, барин Алексей Толстой. «Красный граф» смотрит, сытно щурясь, на храм, на его прихожан, на прохожих. А поодаль, в ста шагах от нас, кутаясь в куцее пальтецо, идет нам навстречу (нам ли?) неистовый, божественно красивый, словно только сошедший с Олимпа, Александр Блок.

Нет, не один я в пустыне жизни. Не один. Мне кивают знакомые поэты, жмут руку писатели, улыбаются поэтессы, эти загадочные, неменяющиеся с годами парнасские девы.

Вперед, вперед!.. Скорее мимо, мимо их улыбок, туманных взглядов и жаждущих уст... Вперед, вперед, в пустыню жизни, в суету огромного города, во мрак души своей.

Выхожу один я на дорогу...

Нет, нет и еще раз – нет! У меня давно нет сил идти одному. Да и желания такого нет. Может и есть, но я боюсь одиночества. Люблю его и боюсь. Мне нужна опора, нужны друзья, нужна женщина, – я не могу без общения. Я так привык к своим друзьям, к общению, к толчее московского метро – вынь меня из этого и я теряюсь. Я заблужусь во мраке собственных мыслей, я подавлюсь невысказанным словом. Я привык к суете, живу по привычке: иду, спешу, бегу, выбиваясь из сил, – и опаздываю. А то всё чего-то жду, выглядывая в окно, по несколько раз на дню заглядывая в почтовый ящик, включаю и, минуточку-другую бегло посмотрев на экран, выключаю телевизор, достаю папку, ворошу в ней исписанные листы, давние, но неопубликованные и новые свои стихи, – убиваю время. И думаю: лучше бы куда-нибудь спешил, пусть и, зная наперед, что опоздаю, что вся эта беготня зря, но все-таки шел, бежал, ехал...

Устал от ненужной, пустой, выматывающей душу и силы деятельности; устал от растянувшегося во всю жизнь ожидания. Живу из последних сил, живу по привычке, и лишь благодаря ей все еще не помер, не подавился собственной ненужностью – миру, людям, самому себе.

Спасают друзья, знакомые, близкие и не очень, спасает литература, поэзия, чистый лист бумаги. Спасает природа – лес, поле, река, мечта о море. А еще – дочь. Мать, мысли о них, воспоминания, дума о жизни, надежда на встречу, призрачная надежда на счастье. Она все еще глубоко во мне.

Я давно не пишу стихов так, как следовало бы писать стихи. Я пишу их, выдавливая душу на лист бумаги. Так пишут стихи старики, так пишут их импотенты, обвешанные дутыми лаврами общественного признания и высокими правительственными наградами и премиями. Вдохновенно пишут стихи юноши, а еще – графоманы. Ну и, конечно, гении.

Увы, я не юноша, слава Богу, не графоман и, разумеется, не гений. Надеюсь, не импотент, измочаленный бдением над листом бумаги, жаждой славы и денег, наград и почестей. Ничего этого у меня нет. Это и утешает. А еще – не позволяет совсем опустить руки, окончательно скиснуть, а то и спиться.

Я живу по привычке. Ложусь спать и встаю с постели, умываюсь, завтракаю... Иду, спешу, бегу... Читаю, пишу... Думаю, думаю, думаю... Живу по привычке. Так, наверное, живет крестьянин, или, по крайней мере, жил; пахал, сеял зерно, убирал жито, молотил его, молотил, выпекал хлеб – насущный хлеб жизни.

Живу по привычке.

Еще бы не привыкнуть к... Нет, не надо. Ко лжи, фальши, лицемерию никогда не привыкну. Буду ждать, киснуть, хандрить, болеть.

А потом сорвусь – и побегу!..

По делам, к друзьям, навстречу женщине, мечте, надежде. Присяду, а то и на ходу достану чистый лист бумаги и...

Пишу стихи. Пишу вообще. Это мое счастье, моя беда, моя жизнь.

И снова спрашиваю себя: неужто только по привычке – живу, люблю, пишу? И можно ли, скажем, любить по привычке? Писать стихи?

А жить?..

Но, слава Богу, жизнь продолжается. И как бы туго не приходилось порой, – жить нужно, жить стоит уже ради того, что можно поделиться своими думами с листом бумаги. В надежде на то, что кто-то когда-нибудь это прочтет и быть может твои рассуждения поддержат его, помогут ему в трудную минуту выстоять и жить дальше, обрести надежду на лучшее.

И жить, верить, надеяться, любить. Радоваться, страдать. Вот он, залог вдохновения – радость! Обретение веры, проблеск надежды, свет любви. Радость жизни. Пусть даже слепая, недолгая, мимолетная радость.

А еще залог вдохновения – страдание. И чем оно тягостней, горше, беспросветнее – тем сильнее вдохновение. Не надо только тонуть в унынии, захлебываться тоской, зеленеть от водки. Страдание – вечный стимул вдохновения. Великое одиночество души – ты говоришь с целым миром, тебя слышит Бог, – открой ему сердце. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит». И ты с ними – один на один. И с самим собою – один на один.

В многомиллионном городе, в пустыне жизни, в огромной многоликой толпе – ты один, ты совершенно один в бесконечно текущей толпе.

Я давно уже научился (и сам не заметил когда) жить в себе даже в гудящей толпе, посреди неутомонного и ночью города – иду, думаю своё. И когда думаю стихи – я один. И мне совершенно не мешают суетно мелькающие передо мной лица и покачивающиеся в такт шагам спины. Я сам по себе. Я в своем мире, а мой мир – во мне.

Идут люди, бегут машины. Звонят голоса и гудят моторы, стучат каблуки и визжат тормоза... Но душа моя поет в ритме вчерашней радости или завтрашней печали. «Выхожу один я на дорогу...». Я никого не вижу, я никого не слышу. Я вижу солнце – ночью, я вижу звезды – днем, я говорю с Богом. Господь внемлет страждущим. Он слышит обратившихся к Нему и посылает им Радость, Страдание, надо только Верить, Надеяться, Любить.

Выхожу один я на дорогу...

2002

## Белые мосты – от сердца к сердцу

Сегодня меня обокрали. Увели из кармана бумажник. Заметил, вернее – почувствовал, когда стал надевать пальто. В кафе в Камергерском переулке, этом фешенебельном месте Москвы нынешнего века. Дорогая брусчатка, чугунные фонари, роскошные витрины, рестораны, кафе, бистро, пиццерии, богатые магазины... Здесь знаменитый МХАТ имени Чехова, тот, что на весь мир прославил Олег Ефремов, тот МХАТ, что прославлял Ефремова и не менее знаменитых его актеров. Камергерский переулок – этакий оазис тишины и благолепия, несколько сотен шагов, что идешь без оглядки по сторонам и назад, идешь неспеша, заглядывая в витрины, оглядывая интересные, оригинальные, величавые и экзотические фасады еще тех, имперских, державных особняков, идешь без страха, что собьет тебя лихой шофер или мотоциклист: Камергерский переулок – пешеходная зона. Рядом шумит-гудит Тверская, Большая Дмитровка, Охотный ряд... А тут – тишина, роскошные дамы, солидные господа, молодые богатые франты и их спутницы, шумные студенты, беспечная молодежь...

Я лет пять не заворачивал в Камергерский – не до того было. Проходил мимо по Тверской, идя на станцию метро «Театральная», проходил, не сворачивая в Камергерский, потому что изрядно нагуливался Москвой, выйдя из ЦДЛ и пройдя Большую или Малую Никитскую, Тверской бульвар или Большую Бронную, что выводят пешехода на Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Ну, а пройдешь по Тверской от Пушкинской площади до Камергерского, почувствуешь спиной, не то что ногами, – натоптался достаточно, скорей до Манежной, а там в Охотный ряд и напрямиком к метро – нагулялся. А представишь, что в поезде придется ехать стоя в битком набитом вагоне добрых полчаса, – ходить, пусть себе по самому распрекрасному и удобному Камергерскому переулку – калачом не заманишь...

Сегодня же меня повела с Тверской в Камергерский З. – посидеть в кафе. С З. мы познакомились недавно, всего ... 16 дней знаем друг друга, но мне уже не хватает ее, когда остаюсь один, а когда встречаемся, кажется, что знаю ее давно, очень и очень давно, что она всегда была рядом, я слышал голос ее, смех, видел ее улыбку... Наверное, дорогие нам люди, независимо от того, когда с ними встречаешься, издавна, с самого-самого начала живут в нашем сердце. И когда, наконец, мы их встречаем – этот уголок расширяется, точнее – этого человека мы впускаем во все свое сердце, и вот уже думаешь, даже не думаешь, а чувствуешь его там, живешь с ним в сердце, словно он и был там всегда...

Так у меня и с З.

Я уже думаю (боюсь, не самонадеянно ли?), это Господь послал мне З. за многие потери последних лет, за утраты, что понес я уже тут, живя в этот свой приезд в Москву. Накануне Нового года, в Великом Новгороде умер Евгений Курдаков, прекрасный поэт и эссеист, добрейший и мудрейший человек. С Женей свела нас судьба на Высших литературных курсах. Евгений Курдаков, Евгений Васильевич, незабвенный Женя, умел жить, радоваться жизни и радовать всех, кто был с ним рядом. Женя в любой, даже большой попойке был не просто выпивающим, он поднимал стакан, мило цокая языком, слегка как бы облизнувшись, обводил окружающих взглядом, при этом обязательно поправлял очки, глаза его неистово сверкали, сияли теплым, добрым светом, он улыбался, что-то говорил, непременно яркое, умное, уместное. Юмор его был неподражаем, в меру циничен, изыскан. Всем этим нынешним записным телеумникам вместе взятым до умицы Жени Курдакова тянуться – не дотянуться, даже выскочив из собственных штанов и шкуры... А как он декламировал стихи!.. Именно декламировал, а не читал... Помню, живя в общежитии Литинститута, а жили мы по соседству, дверь в дверь, я прочитал ему балладу Миколы Купреева на белорусской мове. Спустя неделю или две, будучи навеселе, заглянул ко мне Женя и робко так, с улыбкой, как улыбаются дети, прося что-то, попросил меня: «Валера, пожалуйста, прочитай мне еще раз балладу твоего земляка.

В сродном языке, в особенности, если это язык талантливого поэта, есть что-то загадочное, тайное, шаманское, что ли, когда вроде и понимаешь все, чувствуешь нутром и вместе с тем вязь поэтических строк и рифм завораживает, поглощает тебя без остатка...»

С Женей мы переписывались. Пусть не часто, но все же. Еще реже встречались. Последняя наша встреча произошла прошлым летом здесь, в Москве. Женя приехал прощаться с друзьями —навсегда прощаться. Рак его сжигал. Плоть, но не душу. Даже в тот день Женя находил в себе силы шутить, смеяться, читать стихи. Он и меня все просил прочесть что-нибудь. Я же, как это часто со мной бывает, был весь в себе — в своей любви, боли. Да как-то в тот день я и думать не думал, что вижу Женю в последний раз.

Прости, Женя, друг, собрат, старший товарищ, ты был и остаешься для меня примером — поэта, гражданина, человека.

Как тяжело я переживал эту утрату, как мучился, что не смог даже проводить его в последний путь...

Утешал меня, сурово урезонивая мою тоску, Геннадий Дубровин. Я жил у него. Гена приютил меня в бездомной Москве, вытащив из трясины провинциального прозябания. Только поэт мог потесниться и в без того тесной квартире, сказав другому пишущему: «Живи, пиши. В тесноте — зато в столице! Где еще место поэту, как не в Москве?» А когда я заикнулся о плате за жилье, — искренне обиделся...

Сколько мы за эти дни, недели и месяцы переговорили, сколько прочитали стихов, о чем только не спорили, что только не обсуждали!.. И думали, думали, мечтали...

Но — где живет человек, там и смерть его живет. Тем она и не страшна, что сколько мы и во что ни вглядываемся, ее то как раз и не видим. Да что там не видим — замечать не хотим даже!.. Но смерть — вот она, с нами, смерть наша — это та же жизнь, только обратная сторона ее. Она всегда, от первого дня рождения — с нами...

21 марта днем в Пинске я сидел в поезде, чтобы назавтра, приехав в Москву, выйти — прямо с поезда — на работу.

Приехал. Все в порядке. Принимаю дежурство. Открывается дверь, — заходит Федор Черепанов: «На всякий случай приехал подстраховать», — первые слова его после рукопожатия. Федор Черепанов — поэт, аспирант Литинститута, а теперь еще и главный редактор альманаха «Братина». Мы давние друзья, наше связующее звено — Евгений Курдаков, первый учитель и духовный наставник Черепанова, Юрия Савченко, моих друзей, моих братьев по перу. Это он, Евгений Курдаков, в 1994 году создал при журнале «Наш современник» поэтическую студию, в нее вошел и Геннадий Дубровин. Так связала нас поэзия, русское слово, русская жизнь самых последних, далеко не лучших для культуры (и не только) лет XX, уже прошлого века.

Федор привез свежие номера альманаха «Братина». Альманах мы делали вместе, это выпуск посвятили Белоруссии. Он должен был выйти в конце осени, но по разным, разумеется, от нас не зависящим причинам, все не выходил и не выходил. Петр Кошель, один из авторов альманаха, не раз говорил мне: «Махни рукой, дело не новое, пообещать пообещают, а издать не издадут». Альманах ждали и в Белоруссии — в том числе и мои приятели в Пинске — Николай Еленевский и Вячеслав Ильенков. Их произведения мы тоже включили в этот номер. Ждал выхода альманаха и Геннадий Дубровин — автор подборки стихов. Как-то в последнее время складывалось, что его почти не печатали — Дубровин совсем не из пробивных литераторов. Правда, я организовал его на работу над новой книжкой стихов и он ее за несколько недель перед Новым годом подготовил. Мы вместе свезли ее к издателю, книжка вышла, была даже хорошая рецензия в «Литературной России». Геннадий засел за подготовку новой книжки стихов, почти никуда не выходил из дому — просматривал рукописи старых и новых своих стихотворений, помногу советовался со мной — я как мог, помогал. И выход «Братины» с подборкой

его стихов был для него как нельзя кстати – моральная поддержка в работе над новой книгой весьма важна.

Звоню ему на квартиру. Раз, другой, третий – молчание, никто не берет трубку.

– Что-то не то, – говорю Черепанову. – В это время Дубровин обычно дома.

– Ну, мало ли что, может, на рынок пошел, в магазин...

– Нет, Федор, нет, чует мое сердце что-то неладное, чует...

– Да брось ты, в самом деле, что может случиться?

Федор ушел, а тревожное чувство осталось. Не проходило оно и когда я перечитывал отдельные места «Братины». Чтение меня несколько успокоило, долгожданный выход альманаха сам по себе был праздником, о самом страшном я все же не подозревал, так, думал, какая-нибудь семейная неурядица, бытовая, пусть и незаурядная проблема. Снова подошел к телефону, набрал номер. На том конце трубку тут же сняли. Меня сразу насторожил голос – совсем незнакомый. Поздоровался, спросил, туда ли попал. Туда. «Позовите Гену». «Гена умер». «Как?! Когда?!» «Вчера утром»...

Ехать на квартиру не было смысла. Тело Геннадия было в морге, похороны – в понедельник, через два дня. Я ходил – взад вперед— по конторе, думая, что предпринять, что делать, кому звонить. Шура, жена Геннадия, наших общих друзей знала, но телефоны их, скорее всего, нет. Да и не до того ей было сейчас, чтобы обзванивать друзей покойного мужа. Мы с ней ни о чем и не поговорили, она все время плакала, повторяя в трубку: «Горе, какое горе...»

Похороны в Москве дело исключительно узкого круга – ближайших родственников, друзей и, так называемого представителя трудового коллектива, если покойный где-нибудь трудился. Исключение – похороны разного рода деятелей, мафиози, известных уголовников и прочих, кого теперь именуют «крутыми». Да это и не похороны вовсе, а скорее некое шоу, без чего просто немыслима сегодняшняя Москва. Куда ни ткнишь – всюду представление. Вот и самое трагичное, самое земное, самое святое для человека – похороны здесь тоже зачастую превращают в шоу. И Бог с ними, пусть тешатся-потешаются...

Человек, наверное, вряд ли смог бы прожить без друзей, без дружбы, обычный, так сказать, нормальный человек. А еще – без любви. Представьте себе жизнь без любви – к женщине, к матери, к детям. Без любви к ближнему... В трудную годину мы всегда вспоминаем друзей, любимых. Идем к ним, как к спасительному огню.

Похоронили Геннадия Дубровина на Щербинском южном кладбище. Сюда мы приезжали с ним минувшим летом – на могилу его тещи. Кладбище огромное, заселяющееся так быстро, как и Москва, совсем без деревьев – и потому еще более угрюмое и печальное. Правда, кладбище само вроде бы в лесу, но лес этот совсем невеселый, лес пригорода. Словом, не хотелось бы упокоиться в подобном месте.

С кладбища ехали в четырех машинах, автобус отпустили – народу на похороны собралось совсем немного. Ехать со Щербинки до Москвы что-то с полчаса. За эти полчаса много чего вспомнил, передумал. Да и думы мои московские кружатся обычно вокруг одного и того же: оставаться здесь в Москве, или все-таки доживать век свой на родине, в Пинске?.. Москва, понятно, привлекает многим, жизнь в Москве, в особенности человеку творческому дает такие возможности, что в провинции об этом можно только мечтать. Но Москва, она и выматывает, особенно провинциала, не имеющего здесь постоянного угла, так что я до сих пор не перестаю удивляться себе – как я еще не махнул на все рукой и не двинул отсюда на родные берега?.. Но следует признать и то, что без Москвы, без ее сутолоки, без журналов, ЦДЛа, друзей-товарищей по литературному цеху я уже и не мыслю жизни своей...

Жаль вот только, все больше и больше я теряю друзей-поэтов, прозаиков, журналистов... В Москве и в Пинске, в Минске и Бресте... Едва минул месяц, как узнал я о смерти Василя Сахарчука, глупой, нелепой, такой неестественной как мне тогда казалось. Тот же Дубровин меня урезонивал: значит, так надо. И вот...

Не стало у меня еще одного друга, замечательного человека, русского поэта Геннадия Дубровина. Снова опустились было руки, снова показалось, что мир сузился до горловины стакана и в эту пустоту погружается сердце, вот-вот и опустится. Еще по дороге с кладбища домой захотелось собрать в сумку небогатые пожитки и ... вспомнил того же Геннадия Дубровина, его уроки, простые и суровые: держаться! Судьба неласкова была к нему, судьба круто обошлась с человеком и поэтом Геннадием Дубровиным. По молодости лет узнал даже камеру смертников, но в последний момент переиграли приговор и десять лет своей жизни намотал он на колючую проволоку тюрем и колоний строгого режима. Но и в тюрьмах, и в колониях Геннадий Дубровин, недавний выпускник биологического факультета, оставался человеком и поэтом. Писал стихи, вел дневник, куда вносил свои мысли о русской поэзии, литературе, рассуждал о Человеке и Мире, о месте человека в мире... И почти ни строчки о тюремном и лагерном быте, о чем сегодня, завывают, пощипывая струны, шабашники от поэзии и культуры с эстрады, с экранов телевизоров. Дубровин, бывало, услышит подобное и как бы вскользь обронит: «Вот бы его (этого самого исполнителя песенок о тюремной романтике) туда, чтобы он запел?...» И усмехнется, и ничего больше не скажет.

Помню я и суждение его, Геннадия Дубровина, обо мне, о моем творчестве. Мне оно, суждение его, очень дорого, особенно теперь, когда не стало его самого. Это во многом и обусловило нашу дружбу, то, что и приехал в Москву, поселился к нему, это его суждение не раз помогало мне не сорваться, не кинуть все и вся и снова бежать в Пинск. От себя самого, как известно, не убежишь.

«Ты должен писать...»

– Но меня не издают, уже больше десяти лет у меня не выходят книги, мои рукописи одобряют, хвалят, мне обещают...

Первым, кто проявил инициативу издания моей новой книги – Федор Сытин, журналист, литератор, мой давний товарищ. Я тогда только приехал в Пинск и, как полагал, надолго. Об этом и сказал Федору, заглянув к нему на работу в редакцию газеты «Живая вода». Была и такая в Пинске. Сытин, лишь только услышал, что я нынче задержусь на родных берегах, тут же и предложил: «Чего время даром терять – подготовь книжку стихов, найдем спонсоров, издадим. Глядишь, память будет, да и книга у тебя давно не выходила...»

Да, книги у меня к тому времени, а было это в конце февраля 2000 года, не выходили уже десятый год. Хотя в мыслях моих не однажды зрели планы создания очередного сборника, уже и названия были, и прикидка объема, и примерное содержание. Накануне и тогда я опубликовал больше десятка своих эссе, они многим, кому я их давал читать, глянулись, многое у меня было написано еще, кое-что, так сказать, висело на пере. Я и решил тогда издавать не книгу стихов, а книгу прозы – эссе, статьи о литературе, рецензии на книги. Были у меня и дневники, и заметки – моя давняя тайная страсть и любовь...

А однажды в Москве в Правлении Союза писателей России я даже оставил заявку в расчете, что мне дадут стипендию. Такие давали одно время российским писателям. Так вот, в той заявке я даже указал, что работаю над новой книгой «Белые мосты» (название придумалось тут же, над листом бумаги, на которой писал заявление). Было у меня в юности стихотворение: «Золотые клены, белые мосты, – от села до вёски ровно три версты...» Придумалось как-то, проезжая Любанский мост в золотую пору ранней осени. Ехали в сторону Украины: вот и связь: село-вёска...

Так что, уходя от Сытина, я примерно знал, что будет представлять моя новая книга. Было и название – это запало мне в душу тогда, когда писал ту самую заявку. Хотя, разумеется, ни над какой книгой я в то время не работал. Но книга такая, судя по всему, жила во мне, сидела, так сказать, внутри. И вот...

Федор Сытин обзвонил директоров ведущих предприятий Пинска, все они его, недавнего редактора городской газеты, хорошо знали. И кроме одного, тогдашнего гендиректора круп-

нейшего пинского ППТО, дали согласие внести небольшой вклад в дело издания книги. Да и надо было всего ничего, так думал я, недавно приехавший из богатой Москвы, тысячу-полторы долларов. Ну а с каждого сотню-другую долларов – для предприятия деньги не ахти какие, если учесть, сколько всего у нас идет «мимо кассы» – на потопы-пожары, на встречи-проводы «гостей», разных там проверяющих и прочих всяких. Нужна была только какая-нибудь «бумага» от Союза писателей, или там редакции, что деньги, мол, не абы куда перечисляют.

Бумагу соответствующую я тут же взял в областном отделении Союза белорусских писателей. Мало того, открыл так называемый благотворительный счет в банке и... пошла писать губерния...

Кто только не обещал помощь в издании книги!.. Деньги же – 100 тысяч, что соответствовало 100 долларам – перечислил единственный человек. И совсем не из тех, кто обещал, – директор ПТО «Медтехника» Наривончик С. М. К слову, произошло это как бы между прочим. Игорь Иванович Романчук, царствие ему Небесное, работавший в то время в «Пінскім весніку», знал о моих потугах собрать деньги на издание книги и при случае обмолвился об этом.

Денег тех как раз и хватило на набор. Рукопись набрали в Бресте и вручили мне два экземпляра. Один я тут же отправил в Москву Федору Черепанову. Он тогда собирал белорусский материал для альманаха «Братина». Второй экземпляр, несколько посомневавшись, послал в издательство «Мастацкая літаратура» – где наша не пропадала!..

Но прежде был год поисков – не путей жизненных, не тем для стихов и эссе – год поисков денег на издание книги. Если бы кто мне сказал прежде, что столкнусь с подобными унижениями (мелочностью, бездушием, криводушием и лицемерием всяких-разных начальников, начальничков и чиновников), плюнул бы как водится, через левое плечо, перекрестился и заказал всякому ввязываться в такую «авантюру».

И происходило все это весной-летом 2000 года. К тому времени я уже имел опыт работы над книгой, что издавалась по частной инициативе: в Москве не однажды по просьбе коллег просматривал их рукописи, даже редактировал, а вот о своей книге я почему-то серьезно не думал, пока не столкнулся с предложением Сытина. Мы и раньше, еще когда я жил в Москве, как-то об этом говорили, но так, вскользь. А тут – куча обещаний. Я тут же подготовил, вернее – прикинул содержание книги. Дело оставалось за малым – достать денег, подготовить рукопись (это я бы сделал за неделю-другую) и сдать в издательство.

Тут на моем пути вырисовалась нечаянная подруга И. В. Она жила в Бресте, считала себя самой красивой и талантливой тамошней женщиной и вот, добывая третий десяток своей заковыристой жизни, решила посвятить себя творчеству. Человек не без таланта, изрядно амбициозная и самонадеянная, как и большинство женщин, взявших в руки перо, И.В. через ответсекретаря областной писательской организации запросто узнала мой адрес, телефон, а потом, разумеется, и меня. Мои стихи она знала давно, и вот... Женщин подобного типа я достаточно встречал в Москве, учась на Высших литературных курсах и живя в общежитии Литинститута. В отличие от московских барышень подобного типа, с головой кинувшихся в омут творческой жизни, И.В., по всему было видно, только подступалась к этому самому омуту. Выглядела ухоженной, непотрепанной вдохновенными ночами и голодными поисками удачи и успеха. Первое, что я ей порекомендовал, как только мы перешли на «ты», бросить все эти ни к чему хорошему не ведущие творческие метания, выйти замуж, ухаживать за мужем и растить детей. И.В., как оказалось, это поняла по-своему и тут же взялась за составление рукописи моей книги. Нелишенная литературного вкуса, И.В. заявила, что книгу должен открывать поэтический цикл, чего поначалу я совсем не хотел, думая, что мои стихи и так хорошо известны читателю по многочисленным публикациям в газетах и журналах. Тем не менее, И.В. отобрала именно из газет и журналов лучшие на ее взгляд стихи и поставила их в рукопись. Более того,

она открыла книгу стихами. И как показало время, сделала это весьма удачно, за что я ей глубоко благодарен.

Не знаю, благодарна ли она мне за те уроки, нет, не поэтического мастерства, а простой житейской мудрости, что я пытался преподать ей. Творчество, особенно стихотворчество, такая зараза (не побоюсь этого слова), от которой так просто не отделаешься. И не беда, если ты мечен талантом – тут, как говорится, сам Бог велел: взвалил себе этот груз на плечи – хочешь не хочешь – неси! А когда таланта нет, так, каприз, желание быть НЕ КАК ВСЕ, – тогда беда! Угробишь и свою жизнь, и жизнь других, в первую очередь, кто рядом, истреплешь так, что свету Божьему будут не рады. Да и сам, не дождавшись, как полагаешь, должного признания, а затем – успеха и славы, сперва возненавидишь, как тебе покажется, более успешных товарищей по перу, затем дальних и ближних родственников, потом затаишь обиду на всех, кто не желает обращать на тебя внимание, и, в конце концов, возненавидишь весь мир и себя в этом мире, так, что небо и в самом деле покажется в овчинку...

Встречал я таких, и немало на своем пути. И что ни говори, а непризнанные, так сказать, поэтессы – это нечто страшное. Хуже того. Особенно – вблизи. Это даже и не женщины вовсе... Таких в храмах отчитывают – изгоняют из них бесов. Разумеется, таковыми становятся не только неудавшиеся поэты и поэтессы, но я-то веду речь о нашем, так сказать, брате.

У моей знакомой И.В. как раз была на подходе первая книга стихов. Вскоре она и вышла. Книга получилась довольно неплохой. Так что я радовался вместе с автором. Надеюсь, у нее и теперь в творческом (да и прочем) плане все так же хорошо. По крайней мере, я искренне желаю этого И. В. Потому и был с ней, как коллега, жестким, требовательным, не разводил, грубо говоря, сопли. Жаль, И.В. меня не поняла. А может... Как бы там ни было, я ей признателен за помощь в подготовке и составлении рукописи моей (пока так и не изданной) книги «Белые мосты».

Это что касается пинско-брестского этапа моей попытки издания книги. Впереди предстоял пинско-минский этап.

Узнав, что мою рукопись в издательстве «Мастацкая літаратура» получили, прочитали и более того – она им понравилась, двинул в родную столицу. Директор издательства, писатель, земляк, и мой хороший знакомый Григорий Марчук посоветовал мне выйти на кого-нибудь из видных земляков – пусть пробьют финансирование издания книги, денег в издательстве давным-давно нет, никак не рассчитаются с типографией за книги, изданные под честное слово.

Тут сам Господь Бог послал мне Ивана Алексеевича Кибак – нашего известного своей активностью и широкой натурой депутат Национального собрания. В его родной деревне Новый Двор как раз проводился районный Блоковский праздник поэзии, и неугомонный Иван Алексеевич принял в нем горячее участие, – выступил перед сельчанами с речью, литераторам и всем участникам праздника вручил подарки, устроил банкет. Короче говоря, на правах доброго хозяина сделал все возможное, чтобы поэтический праздник прошел с размахом, как в лучшие времена. И праздник вышел на славу – был теплый августовский день, воскресенье – все было просто, от души – таким и должен быть праздник поэзии.

Иван Алексеевич Кибак на мою просьбу тут же откликнулся. Этим депутат Кибак как раз и отличается от многих своих коллег. Пошли, пошли письма-запросы – в издательство с просьбой включить рукопись в тематический план и в облисполком – с просьбой профинансировать издание книги.

Рукопись «Белые мосты» в тематический план издательства «Мастацкая літаратура» включили на 2003 год. А вот профинансировать издание книги в Брестском облисполкоме денег не нашлось, что ж, дело понятное, неудивительное и далеко не новое: кто сейчас читает художественную литературу, да еще поэзию, или какие-то там эссе? Да и читают ли вообще, скажем, те же чиновники от культуры, которым сообразно по роду занятий надо бы читать? Ну, на худой конец – хотя бы знать, что же сегодня пишут наши поэты, прозаики, эссеисты?..

Потому, видать, и отписки и устные отказы звучат в лучших, еще тех, с глубокими корнями, традициях российского и советского чиновничьего канцеляризма, что есть прямое следствие абсолютного бездушия и недалекого ума.

Я еще вовсе не знал, что там крутится, что там кто кому пишет, и кто что на это отвечает. Знал только, что Георгия Марчука с должности директора издательства «Мастацкая літаратура» сняли. С новым директором Мачульским разговор у нас состоялся как бы мимоходом: будут деньги, – будет книга.

С этим я и уехал в Москву. Даже не зная, что рукопись включена в тематический план. Об этом новый директор тоже не знал – ему было не до меня. О том, что рукопись стоит в плане, я узнал из письма Алеся Каско. Он даже взялся собрать на книгу заявки в Бресте, – теперь не издадут рукопись, пока не наберется более тысячи (на поэзию) и три тысячи (на прозу) заказов от книготорга, библиотек и прочих заинтересованных сторон.

Никто, конечно, никакие заявки не собирал – ни в Бресте, ни в Пинске, ни в Минске... Правда, в Минске я об этом никого и не просил. Когда, наконец, снова оказался в нашей столице и зашел в издательство, его главный редактор поэт Владимир Марук, мой давний приятель, посмотрел на меня так, как обычно смотрят на тяжело больного или покойника. Я все понял и попросил об одном – перенести рукопись в лан 2004 года.

Как-то накануне Нового (2003-го) года бессонной ночью (о чем только не передумаешь!) пришел я к выводу: надо организовать письмо от Союза писателей России в Администрацию Президента Республики Беларусь – пусть профинансируют издание книги «Белые мосты».

Утром этой своей ночной думкой поделился с Дубровиным. Он хмыкнул, по-моему, весело подивившись такой моей сноровке.

– А кто тебе даст такое письмо?

– В Правлении Союза.

– Думаешь?

– Запросто.

С этим я сел к столу и тут же написал письмо – просто, лаконично, ничего не привирая. Дубровин прочитал, еще раз хмыкнул, уже вполне одобрительно и сказал примерно следующее:

– Да, как не понимали они нашего брата, так и не хотят понимать. А ведь мы, по сути, – их опора.

– Гена, они как раз думают наоборот и в свою очередь помогают, при том не только издавать книги, тем, кто завтра о них напишет совсем обратное тому, что пишут и говорят сегодня...

В тот же день это письмо я показал Алесю Кожедубу, земляку, главному редактору издательства «Советский писатель». Генеральный директор «СП» Арсений Ларионов – первый заместитель председателя Исполкома Международного сообщества писательских союзов меня хорошо знает, я не раз печатался в журнале «Слово», который он много лет редактировал. Алесь почитал письмо, покривил усы:

– А чего ты пишешь в Правление Союза писателей России, а не в Исполком МСПС?

– Переписать недолго.

– Перепиши. Только вряд ли это письмо повлияет положительно на издание твоей книги. – И тут же повторил почти слово в слово то, что часом раньше сказал мне Геннадий Дубровин. Я чуть было не присвистнул от удивления. – А иначе и не бывает...

После Рождества я заехал к Алесю Кожедубу – совсем по иной причине, но и поинтересовался и судьбой своего письма.

– Рассмотрят и решат. Но даже если отправят такое письмо, вряд ли это поможет издать тебе книгу. Ищи спонсора и издавайся, хоть у нас, хоть в Минске.

– Я хочу в Минске, и именно в «Мастацкай літаратуры». В Беларуси эта книга прозвучит. По крайней мере будет к месту.

Кожедуб пожал плечами, ухмыльнулся. Я всегда хорошо понимал его. Я и сам давно устал от подобных суждений и заявлений. Тем не менее, еще раз попросил его не тянуть с письмом. А через месяц узнал, оно и вовсе потерялось в море издательских бумаг. Как теперь я думаю – к лучшему. Но тогда сел и заново настроил. Тем более, что Алесь тут же сказал, мол, Ларионов в курсе и не против поддержать мою просьбу. А еще спустя какой-то месяц Федор Черепанов, ставший консультантом в Исполкоме МСПС, позвонил мне и бодрым голосом объявил: «Сегодня наше письмо, инициированное тобой, подписал Михалков».

Привожу его содержание: «Руководителю Администрации Президента Республики Беларусь У. Р. Латыпову. Уважаемый Урал Рандракович! В этом году известному поэту, эссеисту и переводчику, члену Союза белорусских писателей и Союза писателей России, лауреату Международной премии имени А. Платонова (Москва) Валерию Гришковцу исполняется 50 лет. Минское издательство «Мастацкая літаратура» в 2003 году планирует издать его книгу «Белые мосты». Но включение рукописи в тематический план еще не означает, что книга будет издана.

Исполком Международного сообщества писательских союзов просит Вас оказать содействие в издании этого сборника. Книга Гришковца – своеобразный гимн дружбе наших народов, их извечному единству, без сомнения она будет востребована как в Белоруссии, так и в России.

С искренним уважением С. В. Михалков, председатель Исполкома МСПС.»

Спустя примерно месяц (как будто подгадывали с ответом), опять звонок Федора Черепанова: «Получили ответ из Минска. К сожалению, ничего хорошего. Мы тут говорили между собой, а письмо из Минска читали многие, – такого от твоих земляков не ожидали».

Федор тут же зачитал мне письмо. Честно говоря, я и сам шибко хорошего не ожидал. Но все же – не такой отписки: «Председателю Исполкома Международного сообщества писательских союзов Михалкову С. В. Об издании книги В. Гришковца „Белые мосты“. Уважаемый Сергей Владимирович! Ваше обращение в Администрацию Президента с просьбой оказать содействие в издании книги В. Гришковца „Белые мосты“ рассмотрено в Министерстве информации. Сообщаем, что каких-либо указаний по поводу выпуска в свет тех или иных произведений Министерство информации не дает, поскольку все издающие организации (включая госиздательства) обладают правом хозяйственно-финансовой самостоятельности. Поэтому все вопросы, касающиеся выпуска издания, Вам предстоит решать непосредственно с издательством „Мастацкая літаратура“, где книга включалась в план. Первый заместитель Министра С. А. Ничипорович».

На следующий день, уже вечером, я встретил, совершенно случайно, в ЦДЛе Кожедуба: – Алесь, а ты был прав, когда я тебе морочил голову с письмом в Минск насчет моей книги.

Кожедуб только усмехнулся в усы, хитровато улыбнулся, мол, узнаю земляков...

Правда, я не выдержал и довольно самоуверенно отрезал:

– И все-таки я издам книгу «Белые мосты»! И именно в Минске, в «Мастацкай літаратуры».

Не зря говорят: «Не было счастья, да несчастье помогло». Когда в начале зимы я завернул на неделю-другую домой в Пинск, Николай Еленевский, заместитель редактора «Полесской правды», буквально ошарашил меня:

– Я на днях разговаривал с Кибакон – насчет твоей книги. Он прямо заявил: «Давайте мне рукопись, дискету с набором. Книга будет издана!».

– Но рукопись и дискета с набором в издательстве. Туда же, в Минск ушло и письмо с просьбой издать мою книгу.

- Давай издадим другую, еще одну. У тебя ведь есть стихи, проза?
- Ну, этого хватает. А вот кто сделает набор, и вообще?..
- Я сделаю! Давай материал...

Несколько поколебавшись, я притащил Еленевскому гору журналов, альманахов, газет, машинописных текстов и тетрадей с записями.

Так, не благодаря обстоятельствам, а вопреки им и благодаря Николаю Еленевскому на моем письменном столе, а точнее в творческом багаже появилась рукопись еще одной (опять же, пока не изданной) книги. Не долго думая, прилепил ей и название, как полагаю, достойное: «Я из тех...» – по первым словам недавнего своего стихотворения: «Я из тех, кто сеял ветер...». В этом небольшом стихотворении, как мне кажется, я сумел показать себя, нас и время, в котором мы живем. По крайней мере, когда написалось оно, как сейчас помню, накануне ночи поздней осенью, так мне показалось...

Четыре года тому, 17 марта 1999 года, я получил, живя в Москве, письмо от Евгения Курдакова. Женя откликнулся на мою просьбу, я тогда писал эссе «В Переделкино, к Борису Пастернаку», и у меня возник вопрос, кто и как похоронен рядом с Пастернаком на переделкинском кладбище. В августе 1997-го Евгений Курдаков отдыхал в Доме творчества в Переделкино, я его навестил и мы вдвоем по моей просьбе, пошли на знаменитое кладбище. Гидом был, разумеется, Евгений Курдаков, не раз до того отдыхавший в Переделкино и бывавший на этом кладбище. Я знал Женю, как человека исключительно достойного, что вслед за Пастернаком мог сказать про себя: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

Так вот, Евгений Курдаков живо откликнулся на мою просьбу и еще раз, теперь уже в письме, прояснил вопрос с захоронением Пастернака и некоторых членов его ближайшего круга. Письмо то заканчивалось ставшими теперь для меня роковыми вопросами: «Ну, что ж, всего тебе самого доброго, иногда узнаю о твоих успехах, так хотелось бы почитать и книгу твою. Будет ли? Предвидится ли?..»

В то время, честно говоря, я особенно не отягощал себя такими вопросами. Хотя материала для книги, и не одной, набралось уже достаточно. Честно сказать, я даже и не представлял, с ЧЕМ мне придется столкнуться. Знал бы... Но тем и прекрасна человеческая жизнь, что угадать наперед не дано нам. Потому, наверно, и дерзаем, и тянем гуж свой...

Мои «Белые мосты», что я пытался протянуть к сердцам других от сердца своего, оказались мостами в бездну. Бессердечия, бездушия, тупости, чванства, самонадеянности, самодовольства...

А может? Я «Белые мосты» – построил от своего сердца – к вашим сердцам.

Мои Белые мосты – от сердца к сердцу...

2002

## Пути Господни неисповедимы

Конечно, я далеко не нов, говоря, что любой большой город, а тем более столица, да еще такая, как главный город России, замечателен уже тем, что живя здесь, при желании можно узнать и увидеть столько поистине интересного, стать свидетелем и очевидцем таких ошеломляющих открытий и даже... поворотов истории, что лучше бы оные обошли нас стороной.

Мне выпала участь наблюдать, слава Богу, со стороны, противостояние Кремля и «Белого Дома» – Ельцина со своей челядью и Руцкого – Хасбулатова сотоварищи. Я даже слышал гром танковых орудий, расстреливающих «Белый Дом». Но в отличие от многих, бывших в то горькое время в Москве, я, хотя был неподалеку, не помчался глазеть на сие «захватывающее зрелище». Я просто встретил хорошего русского человека, оператора киностудии «Мосфильм», мы пошли и... напился. Напился в дребадан! И вовсе не потому, что мы были «коммуняки» или «красно-коричневые», как изуверски лихо окрестили «демократическая» пресса, радио и телевидение тех, кто засел тогда в пылающем, кровоточащем «Белом Доме».

Многие из засевших за стенами, беззащитными против танковых орудий, сложили свои жизни на алтарь Отечества. Какого? Отечество не выбирают.

Снимем шапки, склоним головы перед их памятью...

Как неистовствовала московская милиция!.. Как расхотелся ОМОН!.. Целую неделю после жестокой расправы с «белодомовцами» напротив общежития Литинститута, где в то время я жил, прямо во дворе райотдела милиции квартировала какая-то воинская часть. Солдаты днем сидели на броне, а ночью спали внутри БМП. Были они немывы, чумазы, вконец помяты – от ненормальной жизни, от постоянного недосыпу и непросыху. Если из своих бронированных жилищ они еще кое-как и выходили, то из состояния подпития – нет. Водку ящиками, не иначе, по команде «сверху», им поставляли «родные» отцы-командиры.

Что ж, в таком состоянии легче стрелять в собственный народ...

В те страшные дни в моем блокноте появилась среди прочих и такая запись: номер телефона православного священника отца Дмитрия (Дудко). Мы сидели за небогатым столом в еженедельнике «Литературная Россия», единственном печатном органе, который по недосмотру «демократов» не разделил тогда участь «Белого Дома». Все оппозиционные Кремлю газеты были разгромлены буквально сразу же после «исторической победы российской демократии».

Находились мы в трех шагах от пепелища – в соседних комнатах еще несколько дней назад размещалась редакция газеты «День» – главного печатного органа ельцинской оппозиции. На коридоре еще валялись ошметки подшивок «Дня», кучи жженных спичек, окурков, всюду виднелись вьедливые следы омовских ботинок.

Поэт Борис Авсарагов, сотрудник редакции, принес свежий выпуск «Литературной России». В ней была статья отца Дмитрия Дудко. Батюшка призывал к покаянию, примирению. Батюшка поминал пастырским словом погибших. Пока безымянных.

«ЛитРоссия» ходила по рукам. Я сказал:

– Когда-то в молодости я работал в газете под началом Дмитрия Дудко. То был мой первый редактор.

– Но это совсем другой Дмитрий Дудко.

– Я знаю. Запомнил батюшку еще с 80-го года. Во всех газетах Союза тогда печаталось «покаянное письмо» опального священника о. Дмитрия (Дудко).

Батюшку обвинили в измене Родине, уперли в тюрьму. КГБ дожало-таки невинную душу до «покаяния». Конечно, скорее всего, не написал бы опальный православный священник своего покаяния, не столько руководству СССР, сколько нам, советским гражданам. А еще более тем, за «бугром», знайте, мол, у нас тут – полная свобода; отступился, провинился перед Родиной – покаяйся, попроси прощения. А советское руководство, оно гуманно к своим гражданам,

оно не спит – радеет, как бы сделать нам лучше, как бы избавить наши головы от религиозного мракобесия да поставить на путь истинный – путь строительства светлого будущего.

Это потом, спустя пятнадцать лет, так и не дождавшись никакого не то что “ светлого будущего», а более-менее достойного настоящего, отец Дмитрий, чуть ли не единственный на Москве, будет призывать православных русских людей голосовать на выборах президента Российской Федерации за главного коммуниста России Геннадия Зюганова. А другой советский диссидент, второй после Солженицына враг СССР, изгнанный советским руководством из родной страны, русский философ с мировым именем Александр Зиновьев станет доверенным лицом кандидата в президенты Геннадия Зюганова. Воистину – пути Господни неисповедимы...

Мы еще долго сидели в редакции «Литературной России», вспоминали доброе, светлое, что было в Советском Союзе. А такого было немало – чего греха таить. Прислушивались бы тогдашние наши генсеки хоть иногда к таким, как отец Дмитрий, как философ Александр Зиновьев, как писатель Валентин Распутин...

Сколько их, умных, мудрых, светлых голов и чистых душ на земле русской...

Нет, всегда найдется какой-нибудь «гайдар», что в переводе с тюркского – «скачущий впереди». И так поведет-уведет вперед наш народ, оглянешься, а и дороги обратной-то нету...

А что – впереди?

На прощанье Борис Авсарагов напомнил мне: «Не стесняйся, позвони отцу Дмитрию. Он будет рад. Батюшка любит литераторов. Особенно поэтов. У него, знаешь, какие грибы, варенья! Батюшка – хлебосол...».

Несколько раз я собирался позвонить отцу Дмитрию. Но так и не позвонил – постеснялся.

Увиделись мы год спустя, в октябре 94-го, на похоронах писателя Эрнста Сафонова, главного редактора «Литературной России».

Эрнст Иванович на Высших литературных курсах вел семинар прозы. Отец Дмитрий крестил Эрнста (в крещении Филиппа) Ивановича Сафонова. Крестил уже взрослым в советской нашей жизни. Разумеется, тайно. Таким образом отец Дмитрий крестил не одного советского писателя, поэта. Батюшка был духовником многих известных, даже выдающихся людей советской эпохи. Он стал прообразом православного священника доброго десятка художественных произведений того времени. Это была в большинстве своем так называемая неофициальная литература.

В 1991 году у нас наконец-то издали роман Владимира Максимова «Семь дней творчества». Я, еще и не помышлявший о Москве и учебе на ВЛК, и уж точно не думавший, что когда-нибудь свижусь и даже познакомлюсь с батюшкой Дмитрием, в священнике, выведенном писателем Максимовым в своем знаменитом романе, сразу же узнал отца Дмитрия (Дудко).

Владимира Максимова за публикацию этого романа в Италии также выдворили из СССР. Владимир Емельянович жил в Париже, создал и многие годы возглавлял литературный журнал русской эмиграции «Континент». Это они втроем, изгнанники земли Советской, вечные враги коммунистического строя, Владимир Максимов, Андрей Синявский и Александр Зиновьев, сразу же после разгрома «Белого Дома» публично осудили варварское уничтожение последнего оплота российских Советов. Они, вчерашние заклятые враги Советов, в отличие от вчерашних же «верных и преданных» «скачущих впереди» и теперь расстрелявших недавних своих товарищей, не поддержали их, казалось бы своих сторонников, а осудили, пригвоздили навечно к столбу позора. От них-то, вчерашних диссидентов, как и от отца Дмитрия (Дудко) все ждали совсем другого...

Следующий раз я увидел батюшку Дмитрия в январе 96-го. Я специально приехал в ЦДЛ на вечер теперь уже поэта отца Дмитрия Дудко.

В вестибюле Центрального Дома литераторов было полно народу. С минуты на минуту все ожидали появления отца Димитрия. Вошел батюшка. Его тут же обступили. Кто помогал ему раздеться, кто спешил взять благословение.

Я подождал, пока толпа маленько рассосется. Подошел.

– Батюшка, я когда-то работал в газете, – начал я сбивчиво свой рассказ, – мой первый редактор был ваш тезка, Дмитрий Иванович Дудко. Это было как раз во время вашей опалы, в конце семидесятых.

– А где? В какой газете?

– В Белоруссии, в пинской газете «Полесская правда».

– Ну, а я – брянский. Тоже считай белорус. А как ваш редактор, – батюшка улыбнулся светло, молодо, – жив-здоров? А вы в Москве какими судьбами?

Меня удивило это батюшкино «вы». Я работал в храме и никогда не слышал от священников «вы». И вовсе не по причине, прости Господи, их невежества. Ведь священник – отец своей пастве, и даже с людьми гораздо старшего возраста всегда на «ты». Может, на батюшку Димитрия повлияло то, что я представился членом Союза писателей, поэтом, что я, честно говоря, делал и делаю не так уж часто. Да и поэты, писатели, и не моего масштаба, ему не в диковинку.

Мы еще некоторое время поговорили с отцом Дмитрием. Нас все плотнее окружали желающие побыть рядом с батюшкой, и я отступил. Правда, отец Дмитрий оставил мне на специально принесенной мною его книге стихов автограф: «Гришковцу Вал. Фед. Рад познакомиться. Звоните, не стесняйтесь. Св. Дм. Дудко».

...Я не забыл об этой встрече, осевшей где-то в глубине моей памяти как десятки, сотни встреч с другими известными, выдающимися современниками. Конечно, я ни разу не позвонил отцу Димитрию. А теперь уж, наверно, не позвоню никогда: мой старый, исписанный множеством адресов и телефонных номеров блокнот пропал вместе с дорожной сумкой. Ее утащили на минском вокзале два года назад. А жаль, очень жаль и блокнота того, и сумки, а еще больше того, что я не позвонил отцу Димитрию, не побывал у него в гостях, не поел вкусных, приготавливаемых самим батюшкой грибков, не попил чаю, настоящего на травах, да с вареньями. О чаепитиях у батюшки отца Димитрия Дудко я потом не однажды еще слышал, читал у знаменитых и не очень людей.

Не было бы и этого рассказа, не попади мне случайно 1 марта 2001 года, в первую неделю Великого поста, в моей пинской квартире книга священника Димитрия Дудко «Стихи моих дорог».

И закончу я этот рассказ аннотацией к данной книге: «Много говорит русскому сердцу имя священника Димитрия Дудко. Многие болящие и страждущие знают его прежде всего как доброго пастыря, благодатного батюшку, духовника, любовно окормляющего своих чад. Знают его – проповедника, духовного писателя, ревнителя Православной веры. Но мало кому известен отец Димитрий как поэт... Поэт самобытный, предельно искренний, в стихах которого „дышит почва и судьба“. Ведь за плечами о. Димитрия 70 лет мученической жизни: голодное детство и отрочество, арест отца, два года немецкой оккупации, год фронта, ранение, тиф, автомобильная катастрофа, два ареста, девять лет ГУЛАГа, постоянное преследование властей...».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.